

NEW HERITAGE PUBLISHERS

Т. С. Карпова

СТО СТРАНИЦ ОБ ИСПАНИИ



Editor
Lyudmila P. Petrova

Copyright © Tatiana S. Karpova, 2021

All rights reserved. Electronic copying, print copying and distribution of this book for non-commercial, academic or individual use can be made by any user without permission or charge. Any part of this book being cited or used howsoever in other publications must acknowledge this publication.

No part of this book may be reproduced in any form whatsoever (including storage in any media) for commercial use without the prior permission of the copyright holder. Requests for permission to reproduce any part of this book for commercial use must be addressed to the Author. The Author retains his rights to use this book as a whole or any part of it in any other publications and in any way he sees fit. This Copyright Agreement shall remain valid even if the Author transfers copyright of the book to another party.

This book was typeset using the L^AT_EX typesetting system.

Cover image: Alhambra, 2007
All photos of the author

ISBN 978-0-9981894-5-1

New Heritage Publishers, New York, Brooklyn, USA

NEW HERITAGE PUBLISHERS

Т. С. КАРПОВА



СТО СТРАНИЦ ОБ ИСПАНИИ



Brooklyn, New York, USA

— 2021 —

Оглавление

Об искусстве путевых заметок, литераторе Боткине и писателе Гарри Франке	6
Некоторые сведения из географии и истории	12
Наконец-то начинается рассказ о путешествии	19
Толедо	24
Доменико Теотокопулос	39
Дорога в Гранаду	48
Гранадские мавры	53
Гранада	57
“Аламбра”	78
Севиля	93
Сеговия	119
Мадрид	129
Эпилог	145

Я посвящаю этот очерк Е. В. Рыжовой, которая попросила меня написать о моей поездке в Испанию.

Посвящаю его также Сервантесу, Блоку, Мериме, Глинке, Мэри Ли Сеттл и многим другим писателям, книги которых помогли мне составить представление об этой стране.

Об искусстве путевых заметок, литераторе Боткине и писателе Гарри Франке

Я люблю книги даже больше поездок. Есть особое удовольствие в том, чтобы увидеть мир сквозь призму чужого взгляда. К тому же хочется, чтобы не ты, а кто-то другой потел и утомлялся, ворочался на неудобной чужой кровати, путался в незнакомых монетах, а потом рассказал обо всём, и не как-нибудь, а так, чтобы захрустел ракушками песок, и обрызгал соком упавший с дерева перезрелый апельсин. Путешествие в кресле — respectable занятие. Предпочесть путешествию книгу о нём не стыдно. Что писатель без читателя? Половинка яблока.

И вот читатель уютно устроился, ему тепло и безопасно, он предвкушает удовольствие от хорошей книги, но сбудутся ли его ожидания на этот раз? Боюсь, не вполне. Прежде всего, не ждите красочных описаний. Их не будет, потому что я ни фигя не помню, а дорожные заметки, сделанные впопыхах, оказались бестолковыми — всё какая-то нудная ерунда. Ничего странного; я плохой наблюдатель, мне не удастся ничего толком разглядеть, потому что меня отвлекают мудрые мысли. Казалось бы, в Испании невозможно не заметить апельсиновые деревья: они везде, они растут в каждом испанском дворике, и вокруг них в траве горят, как оранжевые лампы, почки, апельсины-падалицы, сводя с ума жителя Северной Пальмиры, возвращённого на крыжовнике и клюкве. И что? Не помню ни одного реального дерева, потому что не до того было. Увижу апельсин и сразу думаю о том, что апельсиновые деревья были завезены в Иберию арабами, или вспомнятся радужные картины заграницы, рисованные когда-то моим “выездным” знакомым: мол, там не нужно тратить на водку, надо купить в аптеке спирт и разбавить его апельсиновым соком, который тоже есть в свободной продаже.

Чтобы увидеть, надо приложить усилие, отключить сплошной поток культурных ассоциаций. Мне это удаётся редко. Я на месте того, что есть, вижу то, что было, или будет, или могло бы быть. Мой разум обращён внутрь себя и упорно отказывается перерабатывать зрительную информацию, подсовывая вместо этого готовые обобщения. Недаром говорят, что, чтобы увидеть, надо забыть название того, что ты видишь. Я не могу забыть. Поскольку я вижу не конкретный предмет, а скорее его идеальный образ, в памяти за-

стревают только ненужные и неглавные вещи: интерьеры всех соборов смешались в большую кучу; в Прадо непропорционально сильное впечатление произвел гермафродит; мудехары перепутались с морисками. Вот и получилось, что в этом очерке много рассуждений “по поводу”, а реальных впечатлений почти нет. И тематика подкачала.

В удачных травелогах прослеживаются одни и те же магистральные темы. Об истории или архитектуре говорится вскользь, разве что общее впечатление от рельефа местности, а в основном всё о людях да о людях (особый раздел отводится женщинам), и это естественно: нормальный человек находит высшее наслаждение во взаимодействии с себе подобными. Ещё один уважаемый предмет для разговора — питание. Сколько люди узнали о мире в последние 50 лет (успехи фантастические: молекулярная биология гена, глобальная тектоника плит), но по-прежнему самое дорогое и близкое — еда и женщины; трогательно! Не осуждаю, констатирую, все мы люди, все мы млекопиты, и *на то живёшь, чтоб срывать цветы удовольствия*.

Но от меня вам будет пакость: не будет в моём очерке встреч с испанцами и описаний испанского национального характера и закусок. Мой травелог это пейзаж после нейтронной бомбы — архитектура, история, литература страны минус люди, которые её создали (впрочем, создатели того, что меня интересует, всё равно уже померли). Мне интересны не люди, а продукт их жизнедеятельности — книги, здания и музеи, и я ощущаю жителей страны как помеху, стоящую между мной и прошлым. Да и что я могу рассказать, не зная языка, при невозможности общаться, про современных испанцев? А если даже и можно общаться, то что можно понять о людях, побывав в стране только десять дней и поговорив со случайным попутчиком? Ужас как не хочется пополнять ряды иностранцев, над рассказами которых смеются туземцы. Сколько я уже переслушала восторженных рассказов американцев о путешествии по России, и не уставала удивляться тому, где они выкопали всех этих чудиков, которые мне лично никогда на глаза не попадались, — боялись меня, наверно. Никогда мне не предлагали в подворотне чёрную икру из минтая, никогда за мной в Новосибирске не гонялась “толпа детишек с чёрными глазёнками”, выпрашивая доллары и центы, никогда не приходилось мне спать в деревенском клубе, укрываясь переходящим красным знаменем.

А о питании мне лучше вообще не заговаривать. Испанская еда мне показалась скверной, или, может быть, они так специально го-

товят для туристов. (Едем не за едой, но я её везде огорчительно замечаю; ото всех стран остались в душе светлые воспоминания: вот как мне было невкусно в Италии, вот как мне было невкусно в Испании.)

Словом, пишу я эти записки не за тем, чтобы рассказать об Испании и её жителях. Я пишу, чтобы мысленно прожить набело путешествие, совершённое начерно. Всегда ведь чего-то недоучёл, потратил слишком много на ненужное, не увидел главного, и как же потом хочется это путешествие повторить и сделать всё, как надо. К сожалению, вернуться по собственным следам возможно только на бумаге. Вот я и записываю, чтобы поправить прошлое, всё продумать, сказать себе — вот туда бы ты пошла, вот это бы увидела, если бы осталась ещё на один день, день исправления ошибок.

Но ведь несправедливо совсем уже лишить читателя того, что ему больше всего интересно. И если мне, книжному человеку, робкому читателю, хилому наблюдателю, реально по плечу только мысленное путешествие, то почему бы не обратить на пользу мою любовь к книгам? Почему бы не найти себе спутников и помощников из числа тех, что и подробности замечали, и с людьми беседовали? Выбор обширнейший, начиная с Юлия Цезаря, который осматривал Испанию на боевом слоне, почти как герой русского анекдота, который ездит в Европу на танке. За древностию лет Цезарь вряд ли будет хорошим попутчиком, но и современники мне не подходят. В нашем веке забыто искусство рассказа ради рассказа, а были ведь такие блаженные времена, когда находилось время для мельчайших деталей, для блестящей пуговицы на ботинке, резной ставни на окне. У кого теперь есть время на подробности? Всё второпях, картошка в мундире, книжка на кассете — успеть бы хоть что-то посмотреть — лучше так, чем вообще ничего. Но по мне если уж рассказывать о путешествии, то в деталях, а то зачем вообще браться? Поэтому тянет к людям постарше, родившимся ну хотя бы в девятнадцатом веке, из тех, у кого было время оглядеться, а потом со вкусом, обстоятельно рассказать о пережитом.

Представлю моих попутчиков. (Познакомились случайно, из-за наугад раскрытой книги). Вот наш соотечественник, Василий Петрович Боткин. Кто он такой, узнала сразу, благодаря добросовестному предисловию, свойственному советским изданиям. Боткин перепробовал все ремёсла в литературе, был музыкальным критиком, переводчиком, очеркистом. Дружил со многими писателями: Тургеневым, Толстым, Некрасовым, получал нагоняи от Белинского за аполитичность. Славы особой не добился, хотя в свое время был

известен. Почему его забытую книгу 1848 года “Об Испании” вдруг взяли да и переиздали в “Памятниках литературы” — Бог его знает, — наверно, как и я, раскрыли и зачитались:

“Угрюмо и спокойно, завернувшись в свои коричневые плащи, смотрели мужики на проезжавший дилижанс. Ни в движениях, ни во взглядах не обнаруживалось у них того живого любопытства, с каким житель юга, например итальянец, встречает всякую проезжую телегу и тотчас обступает её. Эти спокойные, величавые манеры особенно поражают после французской подвижности и увёртливости”. (Молодец Боткин — всех уел в этом пассаже!)

Жратва испанская Боткину, как и мне, не особенно понравилась. *“Весь завтрак приготовлен был на дурном оливковом масле, которое воняло, как то, которое называется у нас обыкновенно деревянным. Впрочем, товарищи мои испанцы обрадовались ему, говоря, что они не могли есть оливкового масла во Франции: оно не пахнет маслом”.* (Интересно, а пахнет ли ему подсолнечное, и если пахнет, то чем?)

Нехорошо цитировать автора без его ведома, но удержаться невозможно. Проще было бы взять да и перепечатать всю его книгу. Но к сожалению, нельзя всех просто отослать к Боткину, разве только для того, чтобы посмеяться или поплакать о том, как всего за каких-нибудь 150 лет всё радикально изменилось: исчезли пёстрые народные костюмы, разбойники и дилижансы; никто уже не путешествует на породистой андалузской лошади по головокружительным горным тропкам; испанцы не спешат разделить с тобой последний кусок хлеба; цыган уже не выманишь потанцевать за их любимое угощение — вино и сладкие пирожки; и испанки уж не пленяют полным отсутствием образования и первобытной свирепостью.

Второй мой спутник — американец Гарри Франк. Через шестьдесят лет после Боткина, в 1911 году, он пересёк Испанию пешком за четыре месяца, потратил всего 172 доллара, и так обрадовался, что напечатал об этом книгу. Путешествие вышло на славу: в какие только захолустные деревни и харчевни не забрасывала Гарри дорога; испанские крестьяне (дикий народ, почище о. Фёдора) принимали гостя по акценту за латиноамериканца, жалели и гостеприимно делились скудным ужином; обнищавшие полицейские интересовались, можно ли заработать в Америке свертыванием сигар; католические священники наперебой спешили рассказать неприличные анекдоты, и на их лицах, оправдывая ожидания анти-клерикала Гарри, неизменно лежала печать себялюбия, разврата и обжорства.

Гарри пишет живо и по-простому, хотя сам не так уж и прост, — он и языки знает, и картины любит, — но к читателю милостив и не изводит ни архитектурой, ни живописью. Книга написана со смесью добродушия, иронии и превосходства, возможной только в тогдашнюю эпоху “политической некорректности”, когда незастенчиво было называть немцев “тевтонами” и открыто смеяться над простотами испанскими крестьянами, полицейскими и священниками.

Неведомый мне Гарри вызвал у меня большую симпатию. Но кто он? В книге упоминалось, что до испанского турпохода Гарри был преподавателем в нью-йоркском колледже. Что было после, сделался ли Гарри писателем или остался скромным учителем, и эта книга единственное, что он написал? Я долго чесала репу по этому поводу, пока не догадалась — “Тугл”! Биография Гарри Альверсона Франка (1881–1962) немедленно появилась на мониторе.

Гарри Франк не был неизвестным учителем, он был знаменитым путешественником. Родился Гарри в 1881 году, как и мой дед, что вызвало у меня родственные чувства. Я не могла не задуматься о различии и сходстве их судьбы, интересов и возможностей. Думаю, неспроста мой дед окончил Морской корпус, хотя в семье моряков до него не было, — должно быть его манили дальние страны. Молоденьким мичманом он совершил почти что кругосветное путешествие, проплыв из Балтийского моря в Японское на броненосце “Орёл”, участвовал в русско-японской войне, потом стал учеником Попова, строил радиостанцию на Новой Земле. В это время Гарри пешком исходил Латинскую Америку, Японию, Гавайи и Аляску, предвоенную Англию, Германию и Скандинавию. В отличие от многих, он путешествовал почти нищим и потому всегда оказывался среди самых бедных, оригинальных и колоритных жителей страны. Чем-то он напоминает мне Гиляровского.

Результатом странствий явились тридцать три книги, среди них даже “Бродяга в Стране Советов” (Год издания — 1935. О том, что случилось с моим дедом в 35 году, лучше не надо...). И капитан Карпов, и Гарри поучаствовали в обеих мировых войнах, но, в отличие от деда, Гарри удалось вернуться из последней передрыги живым. Много лет, книг и лекций спустя он был похоронен на Арлингтонском кладбище, как полагалось американскому подполковнику в отставке.

Возвращаясь к моему опусу ... несколько слов в заключение. Стало быть, в Испании большую часть не увидела, и не запомнила; пишу, пытаюсь по фотографиям, по кратким ежедневным запискам с места событий, по чужим книгам, воспроизвести пост фактум,

что же там такое со мною могло быть, и выходит мешанина из реконструкций, цитат и моих соображений по этому поводу, заметки мизантропа, не знающего языка, неспособного ничего разглядеть, да ещё свободно заимствующего у известных писателей. Но мне не стыдно. Я смотрю на свои путешествия, как Жан Жионо, который записал в путевом очерке: *“Я приехал сюда не для того, чтобы узнать Италию, а для того, чтобы быть счастливым”*. Это я о себе пишу, а не об Испании. Это кусок моей жизни, книга обо мне, а значит о дороге, потому что, *“жизнь это дорога, и дорога — жизнь”*, как напомнил нам Басё.



Некоторые сведения из географии и истории

Сделаем всё как следует — запасёмся перед путешествием фактами испанской географии и истории. К сожалению, обычно я так не поступаю — и времени нет, и запомнить ничего не могу без привязки к местности. Я всегда приземляюсь на самолёте на середину карты, не представляя заранее, какая она, и рассматриваю атлас только после путешествия. Откроешь заранее, и ничего не понятно. Что это тут коричневое, что это тут зелёное, зачем? Откроешь потом, и будто поднялся в небо и летишь над уже знакомым рельефом, игрушечными реками, пирамидками гор, — вот-вот себя увидишь, вся Испания как на ладони, нестрашная, ручная — большой светло-коричневый квадрат с зелёными промоинами.

Предлагаю привыкнуть к мысли о том, что по географической карте можно многое вычислить и спланировать путешествие наилучшим образом. Увы, мне самой сделать это мешает природное недоверие к географии. География всегда казалась мне бессвязным нагромождением фактов, и толком я её так и не выучила. Более того, в глубине души я уверена, что география мешает правильному пониманию исторических событий.

В подтверждение расскажу о том, как плохо для меня кончилось на уроке истории первое знакомство с географией Испании. Я, любя Плутарха и с восторгом пересказывая подвиг Ганнибала, запнулась на простом вопросе учительницы, попросившей показать путь карфагенян на карте. Как известно, во время Пунической войны Ганнибал отправился в Рим через Альпы, положение которых в пятом классе было для меня совершенной загадкой и абсолютно не интересно. Исходя из местонахождения больших кружков, обозначавших Карфаген и Рим, самое подходящее для Альп место было в Сицилии или на неаполитанском побережье. Когда учительница

показала мне, где на самом деле находятся Альпы, я никак не могла понять, зачем Ганнибалу-Каннибалу надо было эдак переться через левое ухо; как он попал в эти Альпы, вместо того, чтобы добраться от Карфагена до Рима по кратчайшему пути через Тирренское море. Зачем в Альпы-то, да ещё со слонами? И только совсем недавно, случайно, читая о древних финикийцах, я узнала, что через Альпы переходить пришлось потому, что армия Ганнибала двигалась в Италию из Испании, богатейшей провинции карфагенской империи, где в то время находились главные карфагенские военные базы.

Ситуация ещё более запуталась, когда нас стали учить читать географические карты и делать из них логические выводы об экономике страны. Я понимала физику, я понимала химию, но географическую фигню я не понимала и дрожала в ожидании садистских упражнений: а нуте-с, определите на основе значков, как складывается жизнь маленьких человечков, населяющих перекрёсток долгот и широт, обведённый красной линией государственной границы. Были среди нас находчивые и смекалистые, которые приняли и поняли правила игры: ага, *златые горы*, острова, полные гуана — экспорт, конечно, и угнетение трудящихся; ага — *реки, полные вина* — все там пьяницы! Мне эта веселая забава не давалась, я не могла разобраться в проклятых значках и расшифровать их метафизическое значение; душа моя отказывалась верить, что в географии прослеживаются какие-то, пусть даже слабые и неясные, научные закономерности.

Сейчас, исключительно ради вас, я попробую применить навыки школьных уроков к чтению карты Европы. Так-с, что мы тут видим? Франция и Германия представляют собой толстенькое тельце Европы, располневшее от буржуазного благополучия, Италия — её нога в сапоге, Сицилия — отставшая подошва, Корсика и Сардиния — комья грязи с подметки, а Испания — большая, мудрая, квадратная голова Европы, на тонкой шейке которой болтается колючий парфорс Пиренеев. Кажется, мы увлеклись, и получилось не совсем то, чего хотелось бы Эмили Антоновне, ну да ладно. Продолжим.

Карта Испании разрезана реками и горными цепями на поперечные полосы, как тельняшка, потому что все порядочные реки Испании — Дуэро, Эбро, Тахо, Гвадалквивир, Гвадиана — почему-то текут справа налево или слева направо, в своих верховьях глубоко врезаюсь в тело плоскогорья, и в том же направлении тянутся горные цепи с названиями, которые я впервые встретила в Америке, не догадываясь об их тамошней вторичности — Сьерра Морена, Сьерра Невада.

Обилие коричневого цвета на карте свидетельствует о том, что Испания — горная страна, и жизнь в ней должна быть суровой и трудной, в отличие от весёлой и лёгкой жизни раскрашенных зелёным Франции и Италии. Центральную часть Испании занимает плато с торчащими из него горными цепями. Если навести на карту хорошую лупу, увидишь, что земля на плато бурая с рыжим, местами поросшая светло-зелёной травой, кустарниками вроде дрока, иногда сосновыми рощами, но в основном засаженная виноградниками или оливковыми деревьями, под которыми пусто, ничего не растёт, и проступает натуральный цвет почвы.

Чтобы привязать климат Испании хоть к чему-то знакомому, проведём пальцем по соответствующей широте и попробуем найти местность, раскрашенную в тот же цвет. По высоте над уровнем моря это плато соответствует району Караганды и Целинограда в Казахстане — со всеми вытекающими климатическими последствиями. Климат на плато сухой, жаркий летом и холодный зимой. Для земледелия этот климат неблагоприятный. В Средние века испанцы в основном разводили скот, снабжая шерстью Фландрию (потому испанцы так и вцепились в Нидерланды во времена Тиля Уленшпигеля), перегоняли мычащие и блеющие стада через всю Испанию с пастбища на пастбище, с севера на юг, потом с юга на север, в зависимости от времени года. Узкий райончик плодородных земель, где можно разводить пшеницу, виноград, фиги, и вообще всё, что душе угодно, примостился на южном краю полуострова: в долине Гвадалквивира и на Средиземноморском побережье.

Посреди Испании, в предгорье Сиерра де Гуадарама, находится её столица Мадрид. Города, где я побывала, расположены вблизи Мадрида и к югу от него. В горах Гуадаррама, рядом с Авила и Эль-Эскориалом, возведён город-крепость Сеговия. Толедо, старая столица вестготских и испанских королей, выстроен к югу от Мадрида на реке Тахо. Южнее, за Тахо протянулись небольшая горная цепь Сиерра де Гуадалупе и горы Толедо, потом Сиерра Морена, а ещё южнее — река Гвадалквивир, на которой находятся Кордова и Севилья, а к юго-западу от них, в горах Сиерра-Невада, почти на берегу Средиземного моря, но при этом на горном плато, стоит Гранада, в прошлом последний мавританский оплот Испании. Мадрид, Сеговия и Толедо принадлежат Кастилии, а Гранада, Севилья и Кордова относятся к Андалузии.

Теперь с географией можно покончить и перейти к более интересной теме — истории. И тут (вот свинство!) оказывается, что именно географические условия на века определили и историю Иберий-

ского полуострова, и может быть душой народа, если верить модным идеям связи ландшафта с культурой. Иберия была основным источником золота, серебра, меди, олова, свинца и драгоценных камней для древних народов Средиземного моря. Именно Иберию считают страной Таршиш, с которой торговал ещё царь Соломон.

Первыми торговлю с Иберией наладили финикийцы. У каждого есть любимцы в древней истории — скифы, римляне, афиняне, для кого-то Индия была чудом, — а для меня со времён книги В. Яна “Финикийский корабль” это финикийцы, семитское племя Тира и Сидона, называемые в Библии хананитами, кровь которых растворилась в жилах нынешних жителей Ливана, Палестины, Сирии; финикийцы — отважные мореплаватели, выходившие даже в неизведанный Атлантический океан, предтечи викингов и цыган; жуликоватые и оборотистые купцы; первопроходцы, создатели огромных библиотек, непревзойденные ювелиры, изобретатели всего и вся (кораблей, карт, алфавита), строители городов и гаваней, основатели Карфагена и Кадиса, люди, вызывавшие восторг, ненависть и презрение, не оставившие после себя почти ничего, кроме битых горшков и золотых украшений, да ещё печатей от истлевших папирусных манускриптов, — всё пожрало время, Хронос с железным желудком, и даже имя “финикийцы” в истории осталось чужое, заимствованное, шуба с чужого греческого плеча.

Финикийцы селились в устьях рек и на плодородном побережье Испании, затевали торговлю с местными жителями. Кто там жил, в древней Иберии, кто выкапывал изумруды и топазы из-под земли — тролли, гоблины, кроманьонцы, кельты — кому молились, кто ими правил, история умалчивает, потому что всего важнее для летописцев драгоценные камни и зерно. Иберия исправно снабжает хлебом и минералами и финикийцев, и карфагенян, и сменивший их Рим — а жители мутируют, не сходя с места, то они карфагеняне, то римляне, то вестготы, и для такой перемены достаточно самой малой толики пришло крови. Всё новые и новые города возникают на одном и том же месте: вчера Иллиберри, сегодня Флоренция, завтра Гранада.

Римская Испания это родина Траяна, Сенеки, Марциала, Лукиана. После римлян по Иберии эдак прошлись вандалы, совершая поступки, достойные своего имени, не оставив по вандальей природе после себя никаких памятников старины, ни своих, ни чужих; вот только имя своё — Вандалусия — Аль Андалуз, Андалузия забыли как пакет для мусора после пирушки. После вандалов в Иберии на сто пятьдесят лет закрепляются вестготы, переделывают себя по

римскому образу и подобию, веруют в арианскую ересь, нещадно дерут налоги, но в 711 году поток превращений приостанавливается лет на семьсот с приходом в Испанию мусульман: арабов и берберов, стосковавшихся в пустыне по воде и зелени. Захват произошёл почти мгновенно: слишком мало было согласия между вестготами; и в одночасье вся страна — все кроманьонцы карфагеняне вестготы — обратились в магометанство. Дальше правда пути не стала: во Франции набег арабов на Европу остановил Карл Мартелл (Мартелл в переводе означает молот, молоток, молодец, — дал им прикурить!).

Начинается время могущественного халифата Кордовы, ни в чём не уступающей Багдаду, время расцвета науки, культуры и искусства, время поэзии, прозы, философии, золототканной парчи и праздника; время, когда мусульмане вкушают завезённые ими из персидских садов редкостные сорта гранатов и фиг, сеют рис, экспортируют в Индию лучшие в мире финики, разводят кошениль, шелковицу, выделявая прославленный иберийский шелк из золотистых коконов шелкопряда; время, когда производятся первая в Европе бумага, непревзойденные изделия из шёлка, восхитительная тиснёная кожа; время перевода классических текстов на арабский; время гигантской кордобской мечети — она же и университет.

Да, в то время христиане брали себе арабские имена, а евреи настолько вросли в арабскую культуру, что самая первая грамматика иврита была составлена на арабском. Все были довольны; вздыхали и мечтали о мученичестве только мозарабы — потомки вестготов, сохранявшие верность арианству. С завистью внимали исламской культуре и пытались ей подражать крошечные христианские королевства, узкой полоской растянувшиеся на севере Иберии, там, где не ступала нога араба и куда не заползал корень любимой им оливы.

Но всему приходит один и тот же конец, закономерный результат закоснения, подобный угасанию Киевской Руси, на смену которой пришло жестокое и варварское московское царство. Раздоры между городами приводят к распаду Кордовского халифата на множество крошечных эмиратов. А на севере Иберии в это время разгорается пламя религиозной войны, разжигаемое фанатичными монахами аббатства Клуни, застолбившими путь к Сантьяго-де-Компостела; мирные христианские соседи, пережившие на арабских принцессах и поставившие немало дочерей в гаремы эмиров и халифов, превращаются в беспощадных врагов ислама. Три испанских короля и толедский архиепископ чудом одерживают победу над превосходящими силами мусульман при Навас де Толоса и устраивают кро-

вавую резню. Корчатся мусульмане под пятой жадных и жестоких христиан, теряют город за городом; пала Севилья, и бегут испанские арабы — блондины с голубыми глазами, смешанных кровей, — со всех концов испанской земли в Гранаду, где вспыхивает последний светоч высокой культуры ислама. И вот цветущую мирную цивилизацию настигает закономерная гибель под мечами христианских варваров, людей, которые к возмущению мусульманского современника “никогда задницу не вытирают”. Да, не вытирают, но это им теперь принадлежит плодородная “веха” — долина Гвадалквивира. На всякую утончённую цивилизацию, неспособную противостоять царству Хама, найдутся свои варвары; вчера они, а завтра мы.

Какова же судьба христианской Испании? Странна до удивления. В год падения Гранады Колумб открывает Америку, и на смеющую истощённым копям Сиерра Морена приходят серебряные рудники Мексики, и кошениль теперь поставляют не Испания, а колонии; галеоны, набитые золотыми дублонами и готовыми к переплавке индейскими золотыми украшениями тонут десятками, и десятками попадают в лапы английских пиратов, но золота хватает ещё на два столетия расточительного расцвета, войн направо и налево, — с Фландрией, Германией, с Турцией. Остановив напор Турции на Европу разгромом турецкого флота в битве при Лепанто, жестокая католическая Испания в мечтах о возрождении Римской империи и католицизма, в борьбе с протестантами тратит всё колониальное богатство на бессмысленные войны внутри Европы. В это время расцветает испанская католическая религиозная философия; Тереза Авильская и Хуан Де Ла Крус пишут трактаты, жадно читаемые по всей Испании, но перерезаны экономические жилы, уходит испанская кровь в европейскую почву, всё слабее голос Испании в мировой политике, всё труднее удерживать меч, и падает он наконец из разжатых обессиленных рук страны.

Страшнее, чем экономическое разорение, чем смерть идеи о великой Испании, то, что происходит в самом испанском королевстве: инквизиция, этнические “зачистки” (как это теперь называют в России). За двумя восстаниями морисков (мавров, перешедших в христианство, но только номинально), страшно угнетаемых католическим населением, последовало радикальное решение Филиппа III: высылка абсолютно всех мусульман из Испании в 1609–1611 годах. Ещё до этого, в конце 15 века, евреям предложено или креститься, или уехать — половина уехала, половина перешла в христианство. Многие из “конверсов” искренне сменили веру и даже заняли важные церковные посты. Увы, и перехода в христианство оказалось

недостаточно, — в 1547 году было принято людоедское решение о Лимпьеза де Сангре (чистоте крови), которое запрещало занимать религиозные и светские должности лицам, у которых имелась еврейская кровь даже в четвёртом поколении — понятно, к какой лжи это привело, как разъедали души людей роковые тайны и секреты. Все эти замечательные акты были приняты в обстановке сожжения людей и книг, когда свирепствовала Инквизиция, созданная для уничтожения вероотступников.

Атмосфера, на века пропитанная страхом, подозрениями и доносительством, приводила к фатализму, религиозному мистицизму и фанатической религиозности. В разорённой стране, при правителях и церкви, отчаянно сопротивлявшихся реформам, при многократных войнах с Францией, перемежавшихся гражданскими, нищета, отсталость привели в 20 веке к чудовищному взрыву, закончившемуся кровавой гражданской войной и фашистским режимом. Такова вкратце история Испании.



Наконец-то начинается рассказ о путешествии

2007 год. Весна, жаркая и сухая. Первое испанское кафе, освещённое солнцем, столик, покрытый белой скатертью, черные костюмы официантов, робкая надежда — а вдруг это путешествие получится? И получилось, но как и вся жизнь, не было сплошь победным шествием.

Признаюсь, мне страшно путешествовать, да и вам наверно тоже. Вы ведь боитесь жизни? Я боюсь и потому не люблю её усложнять. Я люблю проложить себе гнездышко ваткой. А путешествие — это удар ногой в мягкое пузо комфорта. Чужая страна встречает странным гулом незнакомой речи, выталкивает, как солёная вода: ты снаружи, ты никогда не перейдёшь границы, ты чужак, иностранец- держиуховостро, — можно смотреть, но нельзя трогать. Разливается в душе ощущение напряжения, которое уже и не отпускает до самого конца, до посадки в самолёт, в обратный путь, когда можно наконец выдохнуть и сказать себе — всё, кончено.

Эта нелюбовь к путешествиям у меня не врождённая, а благоприобретенная. В молодости я любила путешествовать, особенно одна, и ничего не боялась. Ушла молодость и пришла... нет, не старость — трусость. Теперь я пророчу себе опасности — украденные кошелек и паспорт, головную боль нехоти, невкусную еду и шум за стенкой, опоздавшие самолёты и тесные туфли. Почему же меня всё время несёт в дальние поездки? Потому что я по натуре крыса-исследователь — есть такая должность в крысином обществе — дрожит, и шерсть дыбом, и вибриссы торчком, но крадётся впе-

рѣд, движимая мощным инстинктом, — нет, чтобы засесть с газеткой у телевизора на родимой помойке.

Чтобы свести неприятные сюрпризы к минимуму, нужно всё тщательно продумать. Подготовка, подготовка, и ещё раз подготовка. Начать с подбора дешёвой авиалинии — цены-то как растут год от года, Матерь Божья, — потом выбрать маршрут, *от Севильи до Гренады*, может быть даже отметить его флажками на карте; но это пустяки, семечки по сравнению с главным вопросом — как по стране-то перемещаться? Что предпочесть — автобус, поезд, мотоцикл с коляской, метлу, ракету? В каждой стране свои особенности и тарифы.

Тут нужен путеводитель, и не надо путать его с травелогом, у каждого жанра свои законы. Вы когда-нибудь ходили в музей с человеком, с которым вы познакомились совсем недавно, и музей пока что самое подходящее для вас место? Каждая картина для вашего спутника только предлог поговорить о себе. Так вот, это травелог. Вы ходили когда-нибудь в музей с занудой, который всё знает и спешит вам об этом сообщить? Так вот, это путеводитель. Даже когда путеводитель шутит, за него конфузно, потому что зануде это нейдѣт. Травелог — капризный, субъективный (пишу о чём хочу и в основном о себе), — обещает только занимательность, свежий взгляд на вещи, а полезных сведений — по возможности. Травелог — Вронский, путеводитель — Каренин. Травелог — Керенский, путеводитель — Троцкий. К чёрту травелог, из которых можно узнать только о водобоязни автора; подайте мне добросовестное описание насущных мелочей, спасающее от ошибок, унижительных для кошелька, желудка и нравственности.

Жизнь коротка, и выбирать надо только самое лучшее и в еде, и в музыке, и в книгах. Возьмём знаменитый, апробированный временем, путеводитель по Испании, опубликованный англичанином Ричардом Фордом в 1846 году, кирпич с тысячей страниц и пятьюстами акварелей (но вам, дорогой читатель, вам, человеку занятому и серьезному, рекомендую облегченное издание для дам, всего в пятьсот страниц, со специальным крупным дамским шрифтом). Хм, Форд не советует пользоваться в Испании общественным транспортом: в дилижансе душно, случайные попутчики *“под наркотическим действием скверного испанского табака давно забыли о мыле и чистом белье”*. Куда как лучше взять напрокат лошадь, тем более, что две трети страны иначе и не доступны. Верховая езда, увы, не для подагриков, но все остальные путники на свежем горном воздухе позабудут про болезни, печали и обре-

менительные заботы современной цивилизации.

Путешествуя налегке, в одиночестве (слуга не в счёт), выезжать нужно спозаранку, чтобы воспользоваться утренней прохладой, и никогда не торопиться в те места, где вас всё равно не ждут. Пить в дороге нужно как можно чаще, беря пример с испанцев, которые то и дело валяются на брюхо и хлебают воду, не пропуская ни одного ручья. О средстве передвижения нужно тщательно заботиться — ему полагается калорийная пища и отдых в затемнённом помещении. Ноги лошади нужно мыть только после кормёжки. Подвязывайте хвост, если на улице грязно, а на ночь прикладывайте к копытам компрессы из навоза — конского, потому что коровий в Испании трудно достать.

Нет уж, хватит, слишком много возни с этим навозом, пусть лучше будет общественный транспорт с его несвежим воздухом. Решено, мы прилетаем в Мадрид на самолёте, и уезжаем в Толедо на поезде.

Из аэропорта, подкрепившись ужасными сэндвичами из липкой булки (и это только начало наших кулинарных бедствий) на железнодорожный вокзал Аточа мы, как распоследние чайники, поехали на такси — не приняли мы вызов мадридского метро, убоявшись трёх пересадок.

Путеводители рекламируют вокзал Аточу как достопримечательность Мадрида — тщательно отреставрированный памятник архитектуры 19 века, дошедший до нас со времён безраздельного господства железных дорог. От старого железнодорожного вокзала ждётся многого, тем более если воображение подогрето воспоминаниями о солидной деловой роскоши Витебского вокзала с его прозрачным сводом, картинной галереей и винтовой чугунной лестницей. Грезятся металлические и гипсовые girлянды, может быть даже приличествующая обстановке статуя, предугадываются антикварные клубы чёрного паровозного дыма, *“бегущие вдаль поезда, уносящие сон на вокзалах”* победной песней паровозной сирены, сладко сжимается сердце в предвкушении грядущих восторгов. Но жизнь обманет тебя, как обманула пилигрима, увлекшегося фасадом Мраморного дворца, и нашедшего внутри Музей Революции (мило, но не то, что представлялось). Шагнув в просторные двери хрустального дворца с пальмовым садом, ты обнаружишь за ними вульгарный Финбан.

Родным, нехорошим, повеяло на меня от пластиковых исцарапанных стульев, от табло объявлений, которое то работает, то не работает, хотя какая разница: на нём всё равно неправильная информация. Обшарпанность, отсутствие туалетной бумаги, общая

неопрятность (и не только на вокзалах — в барах принято бросать, утершись, на пол бумажные салфетки) — здравствуй, Испания, здравствуй, родная. Россия — мать наша, а Испания — тётя.

После того, как табло грустно икнуло и возродилось уже безо всякой информации, даже неправильной, я решилась обратиться в справочное, — отвечают “очо”. Правильно, у ворот №8 уже выстроилась “очередь” из знатоков местного расписания и обладателей шестого чувства. Оказавшись в хвосте, мы забеспокоились — поезд стоит, а на перрон не пускают. Вот растворяются двери — за пять минут до отправки, для придания живости ситуации, — и тут уж нужно быстро, в борьбе с вихлявым чемоданом на колёсах, спуститься по эскалатору и решить ребус — где написаны номера у вагонов, где первый класс, где второй. Может можно и небыстро, может быть можно и вразвалочку, но нам-то откуда знать, как положено садиться в поезд на испанских вокзалах; где суматоха реальная, а где мнимая.

А в вагоне встала ещё одна задача, хотя мы о ней сначала не догадывались. Места в испанских поездах оказались нумерованные, а я уже привыкла и в Италии, и в Америке, что садишься, где попал. И нас, бедных американских дикарей, тут же поперли с чужих мест. В наш собственный вагон было не пройти: переход меж вагонами заперт. Пришлось-таки сесть на свободные места, благо они были, и дрожать, что вдруг опять с чемоданами придется метаться по салону. Просто Кировский театр какой-то, всё время кто-то приходит и сгоняет с места! К счастью, когда началось действие, когда замелькали за окнами хрущёвки мадридских пригородов, от нас отстали.

Гарри Франк, который, несмотря на стеснённые средства, периодически снисходил до железной дороги, в такие ситуации не попадал. Испания начала двадцатого века была добрее и душевнее: *“Деревянное купе размером с контейнер для пианино было забито не только десятком законных пассажиров, но и всеми пожитками, которые только они могли притащить на себе на вокзал. Мы останавливались много чаще, чем хотелось. Иногда путник пробирался к выходу из дальнего угла купе и сходил с поезда. Со вздохом облегчения оставшиеся делили между собой поровну его место, но тут же приходилось уступать его запыхлённому крестьянину, который забрасывал свой куль в купе и лез по ногам с веселым «Буэнос Тардес!»”. Путешествие проходило в приятнейшей обстановке: “Испанцы, настоящие демократы, в каждом купе превращаются в весёлое семейство. Ни один из моих товарищей по несчастью не*

удержался от воспоминаний, и не было ни одного вопроса, по поводу которого всякий не высказался бы напрямую". Под конец все начали угощать друг друга жареной курицей. Впрочем, не знаю, может быть не курицей, а тортильей, чем Бог послал, но угощали непременно: по словам Гарри Франка, испанец скорее даст вам по морде, чем не предложит откусить от его бутерброда. А нам вот никто не наступал на ноги, не рассказывал про внуков и невестку, закусок не предлагали и напрямую высказались только по поводу наших мест. Немного утешает то, что в 21 веке сидеть в поезде комфортно. Душа отдыхает после вокзалов — сидения аккуратные, обшивка не порезана бритвой, стенки не исписаны, всё прилично, и едет поезд мягко-мягко.

Аточа — дрянь, но толедская станция оказалась роскошной, как и обещал путеводитель, вся выложена цветной плиткой, цветные стёкла, — прямо Елисеевский магазин. Хотя чувствовалась разница; в Елисеевском палаццо среди розовых сосисок и жёлтых сыров нам радостно, а на толедской станции было невесело, как будто она уже отжила своё. Старинный Толедо — красив, а старый толедский вокзал — неприятен, там старина живая, а тут мёртвая. Может быть в избытке мозаик, витражей, узоров из плиток есть что-то перезрелое, чересчур затейливое; или может быть пышность модерна требует других людей, других обычаев и нарядов.



Толедо

Есть города, которым географически предназначено быть маленькими и компактными. Таков островной Манхеттен, который остаётся олицетворением Нью-Йорка, как бы ни пытались к нему примкнуть новые районы на побережье; таков и Толедо, стиснутый крепостной стеной, отграниченный глубоким ущельем. В этом месте река Тахо, выгрызавшая себе ложе поудобнее, наткнулась на скалу, и сделала вокруг неё большую петлю, так что Толедо с трёх сторон окружает вода. На противоположном берегу тоже что-то построено, но немного, и психологически не воспринимается как часть Толедо.

Толедо стар, как большинство испанских городов, как сама Иберия, стар настолько, что всё по-настоящему старое уже успело разрушиться или уйти в землю. По преданию город был основан Гераклом, но от Геракла уже точно ничего не осталось, а от Римской империи только руины римских бань, глубоко под землёй; от раннего средневековья — крепостные стены и небольшая группа “вестготов-мозарабов”, которые преданно сохраняют обрядность своих предков. Да и какое отношение может иметь эта даже уже не седая, а просто лысая древность к современному Толедо, даже если его современность исчисляется пятью сотнями лет?

Можно поспорить о том, что происходит с городами, когда в них радикально меняется культура — является ли арабская Александрия той же, что и Александрия времён эллинизма, — по мне так это совершенно другой город, только носящий одно и то же название. А иногда ведь и название меняется, Илион превращается в Гиссарлык, а Флоренция в Гранаду. Если воспринимать город как картофельный куст, от которого отпочковываются всё новые клубни, то он бессмертен, но если город — это люди в нём живущие, их стиль и обычаи, то тогда город умирает вместе с культурой, его породившей, и на его месте появляется новый. Умер и забыт римский Толетум, и перед нами католический Толедо с мавританской подкладкой.

Город объединяет мавританская планировка: выгравированная на его теле сеть узких улочек, выпрямить которую не удалось ни одному христианскому правителю. Всё, что внутри крепостных стен, не современное, и в силу его старины нам сейчас в Тоledo чудится единство стиля, вопреки реальности, вопреки тому, как много там культурных наслоений, сколько шкур он сменил, превращая попутно мечети и синагоги в церкви, а церкви в музеи: то он захвачен маврами, то отбит у мавров, то он столица католической Испании, то хоть и провинциальный город, но зато при этом главный религиозный центр Испании.

Давным-давно вестготский король Вамба построил крепостную стену вокруг Тоledo. При обмывании стены Вамба страшно упился, потерял бдительность и был пострижен своим соперником в монахи. (Пьянка часто приводит к крутым поворотам судьбы. Например у нас в деревне Большево при обмывании бани агроном случайно заполз на паровозные пути, и ему отрезало ногу.) До сих пор сохранились протяжённые участки той стены и некоторые крепостные ворота, например Пуэрта Бисагра и Пуэрта Камброн — не просто двери какие-нибудь, а серьёзные, большие сооружения со внутренним двориком и башнями по углам.

Есть и другие Пуэрта. В первый раз я вошла в город через Пуэрта де Баб-эль-Мардум, самую маленькую и уютную — смотришь в неё и видишь не перспективу улицы, а каменные ступени круто вверх — заманчивую лестницу в прошлое. Рядом торчит под прямым углом к стене ведущая в никуда величественная Пуэрта дель Соль — смысл в ней когда-то был, но пропал в веках. Проёмы в обоих воротах сделаны в виде гигантских замочных скважин (высокий прямоугольник, пересекающийся наверху с кругом), — форма, типичная для мавританской архитектуры, символ бессмертия или чего-то такого же хорошего.

Улочки узкие нарочно, чтобы было больше тени и прохлады. На домах странные испанские балконы, крытые, застеклённые, зарешечённые; внизу решётки сужены, как брюки, и вдруг, без предупреждения, расширяются наверху пышной блузкой; в месте перехода полочка с горшками или вазочками.

Первый вечер, закатное солнце, улицы забирают всё выше и выше. Блуждая под нависающими балкончиками, никак не найти собор, и вдруг узкую щель улицы пронзает колокольня, и перегорает проход пробка из фотографов, высмотревших единственное место в городе, откуда можно колокольню засунуть в объектив целиком. Нашёлся.

На соборной площади бродят толпы, но пространство за запертой решёткой у входа безлюдно, и спокойно можно рассмотреть сквозь прутья резные порталы над тремя большими дверьми старого дерева, и, закинув голову, ярусы скульптур, над ними карнизы, поросшие травой и кустиками, которые никто не тревожит.

Можно перейти площадь, сесть на скамейку, увидеть весь фасад собора целиком и удивиться, насколько он не похож на фасады соборов Нотр Дам в Париже и Реймсе, хотя их даты постройки почти совпадают. Нарядные, сложно украшенные фасады Реймского и Парижского собора кажутся лёгкими и почти прозрачными из-за пучков длинных тонких колонн, ярусов высоких и узких стрельчатых окон, тянутся ввысь вырастающими из них башнями. В Толедском соборе всё не так. Фасад вытянут не в высоту, а в ширину; из-за того, что на нём почти нет окон и колонн, а есть только галереи с каменными парапетами, собор кажется простым, прочным и могучим.

Массивные башни неодинаковой высоты приставлены к фасаду справа и слева, бросаются в глаза первым делом, и кажется, что из-за них-то и затеяли эту постройку. Правая башня невысока, чуть выше фасада: восьмиугольный барабан на четырехугольном основании, с куполом, напоминающем флорентийские и петербургские завершения соборов. Слева высокая башня-колокольня: четырехугольная, со срезанными углами, с глухими стенами — только на последнем ярусе этого параллелограмма сделаны огромные проёмы, обрамлённые двойными арками на колоннах. Над ним восьмиугольная башня со шпилем, на который надето три кольца с торчащими параллельно земле странными шипами, вроде тех, которые теперь прилаживают на статуи от голубей, но такими здоровыми, что даже страусы-эму, обрети они способность летать, показались бы на этих шипах мелкими блошками. Вокруг основания башни торчат, как сталагмиты, тонкие каменные иглы, изукрашенные желобками. Такие же сталагмиты поставлены и на первой башне, и на крыше собора, где они ещё и усеяны толстыми бомбошками. Колокольня приютила увесистый колокол со смешным для зоолога именем: “Хорда”.

Только где же готика в этом суровом здании, придавленном к земле исполинскими башнями? Можно вернуться, опять прижать нос к решётке и попытаться найти её. В нижнем этаже видим высокий портал, по моим расчетам метров восемь высотой, а рядом два портала пониже. Вот вокруг них и царит готическое изобилие: статуи в нишах, накладные тонкие арки на высоких колонках, эле-

гантное, ритмичное, но при этом без излишеств, без примеси чертовщины и бесовщины. Жаль, что эта готика — порождение 18 века, а что было до этого — неясно. Может, всё было проще, может, сложнее, а может быть именно так, потому что Львиные ворота собора на южном фасаде, достоверно 15 века, выглядят похоже.

Украшали их фламандцы. Передо мною лес узоров и фигур — в глубоком проёме портала расставлены статуи святых на изящных резных пьедесталах, над святыми водружены балдахины в виде небольших храмов, а над балдахинами вдоль изогнутой арки свода взбегают наверх один над другим небольшие горельефы, стоящие на резных консолях. Дверной проём разделён надвое колонкой со статуей Христа. Над каждой створкой двери вырезан барельеф, над которым растопырилась стрельчатая арка, заполненная сложным рисунком. Между арками вделан барельеф богородицы. Над порталом повторяют его изгиб вытянутые вверх медальоны, из которых по пояс, как из окон, высунулись фигуры святых, в живых и непринуждённых позах; одежды их развеваются, как под струей вентилятора. Такое уж было время: 15 век — как раз разгар маньеризма в Италии, и наверно во Фламандии тоже.

Долго, одиннадцать лет, сооружали этот небольшой портал, и долго его разглядывать, если делать это как следует. Мог ли толедец 15 века в далеких краях, закрыв глаза, мысленно обойти фасад собора, вспомнить эти ворота, узор за узором, фигуру за фигурой, складки одежды, листья и лица, или всё это великолепие проскользнуло мимо его взора, как большая пестрая масса, не различимая в деталях, и в душе не осталось ничего, кроме впечатления красоты и радости?

Готические соборы считались Библией для бедных, которую современник читал так же легко, как мы газету “Правда”; их окна с витражами, их фасады со множеством скульптур, расположенных на уровне, доступном для человеческого глаза, рассказывали о библейских сюжетах и не требовали подписей. Химеры, драконы, чудовища, экзотические растения и деревья вовсе не были плодами безудержной фантазии или желания покрасивее заполнить пустые места, а имели конкретное значение, понятное для большинства верующих.

Я, человек 20 века, попадаю в зеркальную ситуацию: готический собор без подписей для меня как книжка без картинок для маленького ребёнка, потому что я не понимаю средневековой символики, я не могу узнать ни одного святого и ни одного сюжета без подсказки. Стоя перед Львиными воротами и вынуждая себя разглядеть

и запомнить мелкие детали, не имеющие для меня смысла, я вижу формы, но не содержание.

Нет, я ещё не кончила о Толедском соборе, о первом для меня соборе на земле Испании, ведь главное — внутри. На следующий день мы пошли его осматривать; было жарко, людно и хотелось поскорее раствориться в прошлом, нырнув в прохладное чрево собора. Нужно только было найти дверь, а это оказалось непросто. Как у всякого параллелограмма, у собора было четыре стороны (все, кроме математиков, поймут, что я имею в виду), и в каждой стенке как минимум две двери, поэтому моя задача не казалась сложной. Но куда не сунешься, дверь заперта.

Вдоль южной стены перед Львиным входом была устроена решётка простого рисунка, со столбиками, на которых сидели на задних лапах небольшие упитанные львы, прикрывая живот и гениталии гербовыми щитами; за решёткой портал с наглухо запертой дверью. Завернув за угол, я оказалась у главного входа, где все три двери были тоже заперты (зато моя сумка почему-то оказалась расстегнута, но ничего не пропало). И тут была решётка, недавняя, — на старых фотографиях её нет, чтобы одичавшие в 20 веке туристы не хватали за нос каменных святых и не откручивали дверные ручки. В северной стенке наконец обнаружилась дырка, но для выхода. Как долго идти, когда обходишь Толедский собор, один из самых больших в Европе! Ещё дольше и тягостнее, если нарастает тревога — а есть ли вход вообще? И вот, когда я уже почти примирилась с тем, что это такое особое сооружение, из которого можно только выйти, перед нами среди зданий, налипших на тело собора, как морские жёлуди, открылся единственный вход, и будка с билетами.

Входишь в собор и замираешь от его неожиданной высоты, которую ничто не предвещало. Как же эти огромные потолки помещаются в соборе, который снаружи кажется низким, приземистым? Как будто в душе примостились две разные мерки высоты — для той, что внутри, и той, что снаружи. Кто-то сказал, что теперь мы не посмели бы построить готический собор, даже если бы знали, как: это не только технология постройки, но и особое мировоззрение, которое видит в вертикалях единение с Богом.

Собор разделён внутри на пять продольных нефов массивными столбами, к которым приставлены длинные узкие колонны с резными капителями. Высоко под сводами видны окна с витражами — широкие, поделённые тонкими колоннами на множество вертикальных секций. Вдоль главного зала идут приделы, пристроенные в разное время, как залы музея, с экспозицией из разных эпох, в

каждом из которых есть алтарь, вделанные в стену саркофаги и могильные плиты, картины и росписи.

В центральном нефе посередине выстроен ещё один собор, но поменьше, без крыши — именно такое впечатление производят стоящие друг напротив друга П-образные алтарь и хоры (а может быть это не хоры, а клирос? — совершенно не знаю правильных церковных названий). Их стены украшены и изнутри, и снаружи рядами статуй, небольшими часовнями и могильными памятниками в нишах.

Собор — это целый мир, создаваемый веками. Войдя в небольшую русскую церковь, даже богато украшенную, особого разнообразия не видишь — всё подчинено одной идее и выполнено в одном стиле, всюду лампы, оклады, — и в этом простота и цельность. Не таков готический собор. Русский храм — дом Господень, западноевропейский собор — град Божий. Я растерялась в Толедском соборе — поняла, что я попала не просто в церковь, а в музей, почти такой же обширный и разнообразный, как Эрмитаж, и осмотреть его весь за один раз невозможно. Огромный Толедский собор набит редкостями (его называют “Ла Рика” — богачка), а при нём ещё и картинная галерея с Веласкесом, Гойей, Сурбараном, Эль Греко, имена которых испанцам так же привычны и обыкновенны, как нам Репин, Куинджи, Брюллов.

На старой литографии интерьер собора полупустой, с несколькими личностями в широких шляпах и испанских плащах. Сейчас не то — пасутся стада туристов, но их быстро перестаёшь замечать, разве только если вдруг что-то надолго замаячит перед тобой — а-а, это оказывается перелётная группа экскурсантов. Народу вроде и много, и нету, потому что самое интересное всегда на уровне выше человеческого роста. Нужен бинокль, но боязно им пользоваться, держишь его обеими руками и искренне переживаешь за карманы, которые остались незащищенными: а вдруг лихие туристы свистнут (вы уже догадались, — о чём же ещё я всё время пекусь?) паспорт.

Итак, Ла Рика — обширный музей, и мы переходим в нём от экспоната к экспонату. На каждый истрачено много радения, искусства и души, каждый заслуживает упоминания, но разве разглядишь всё, разве упомнишь? Я не увидела гораздо больше, чем увидела, а что увидела — тут же забыла. Ведь как дикий северный вепрь осматривает европейские культурные ценности? Забежит, увидит старинное, пёстрое, хрюкнет от удовольствия и выбежит вон. Стыдно перед мастерами за наш небрежный взгляд, за то, что целый кусок их жизни, вложенный в работу, не заслужил и секунды нашего внима-

ния. Мастер, отливший бронзовые накладки на двери, выковавший сложную решётку, выложивший мраморными плитами пол, работал не только и не столько за деньги, а во славу Бога и своего доброго имени. Потому и разорился толедский кузнец, мастер Доминго де Сеспедес, сделавший решётку для хоров Толедского собора, что не захотел сделать её хуже и дешевле, чем обещал, когда понял, что ошибся в цене.

Мы ничего не поймём и не прочувствуем, если не взглянемся в детали. Алтарь в толедском соборе резали одиннадцать лет (опять одиннадцать — какое-то магическое число, квант времени). Может быть, нужно его и рассматривать одиннадцать лет, в колеблющемся свете свечей, приходя на службу по воскресеньям... Слушая привычные утешительные слова, сосредоточиться взглядом на отдельной плите, статуе, раме или дверной ручке и хорошенько её прочувствовать, так, чтобы она стала настоящей частью целого, не той, что потерялась в его огромности, а той, что добавила и дополнила.

Но мне — мне всегда некогда. Мне было некогда взглянуть в Петербург, теперь мне некогда взглянуть в Толедо. Вот например алтарь, самый интересный, самый известный и самый броский объект Толедского собора, я совершенно не помню, осталось только ощущение золота. (Кстати, может быть, я неправильно называю алтарями ретабли, аналоги православного иконостаса, но только не с иконами, а с религиозными картинами или, как в Толедо, скульптурами). Всё, что я могу рассказать про Толедский алтарь, я узнала позже, дома, рассматривая фотографии в книге о соборе.

Толедский алтарь/ретабль, многоярусный, с деревянными раскрашенными скульптурными группами на евангельские сюжеты в широких и сложных золочёных рамах, был вырезан фламандскими и французскими мастерами. Хотя для меня, привыкшей к православным церквям, деревянная скульптура, да ещё раскрашенная, непривычна, но я отдаю должное этому чуду и догадываюсь, какое огромное впечатление производил он столетиями на верующих. Иконостас увенчан фигурой Христа, которую по преданию сделал сам король Альфонсо Восьмой, один из трёх королей, сражавшихся в 1221 году при Навас де Толоса. Не мог король забыть лицо таинственного поводыря, который вывел испанские войска из ловушки, уготованной им маврами, и в память о нём вырезал эту статую.

Иконостас не для близоруких — его приходится рассматривать сквозь мощную высокую решётку, золочёную, кованого железа. Не знаю, зачем там решётка — может, из прозаических соображений, а может затем, чтобы в нужный момент во время службы эффек-

но распахнуть её, чтобы иконостас предстал во всём великолепии. Скользя глазами вверх по решётке, простой и изящной, и заплёшься на её сложнейшем венце из железных ваз с железными цветами и листьями и ещё какими-то завитками. Впечатление странное, будто на решётку Летнего сада взгромодили решётку Михайловского сада у Спаса на Крови, не в буквальном смысле, но по духу, по мироощущению, в потребности эдак всё закрутить, усложнить и украсить. Верхняя часть кажется совершенно лишней, её даже не назовешь красивой, но это типичный стиль “платереско” (“ювелирный”, “стиль златокузнецов”), характерный для решёток испанских соборов, и к нему приходится привыкать, так же, как к обилию чересчур реалистичной и раскрашенной скульптуры.

Поворачиваешься спиной к алтарю и видишь хоры. Решётка хоров более простая и строгая, более красивая, чем решётка алтаря, не зря старался Доминго де Сеспедес. Хоры менее высокие, внутрь пускают, и можно рассмотреть их подробнее, три стенки с деревянными стульями вдоль них. Ручки стульев в виде псов или чудищ, кусающих свой хвост, или свернувшихся в кольцо монахов, что-то тоже себе кусающих — якобы это всё по мотивам испанских поговорок и сказок, хотя причём тут они в соборе? На спинках стульев медальоны, которые изображают битвы с маврами за города Андалузии времён реконкисты — реалистично, так что современники узнавали каждый город. На рамах медальонов идёт своя жизнь, не связанная со взятием крепостей: толстый кабан и обезьяна читают книжки, дерутся испанские хулиганы в лохмотьях. Резной орех сидений, тёмно-коричневого цвета, матово поблескивающий, оставляет более приятное и естественное впечатление, чем позолота и краски великолепного алтаря. Над стульями находится ряд резных панелей с фигурами святых. Над ними — ряд алебастровых барельефов. Хоры увенчаны гигантской скульптурой “Преображение Господне”, выточенной из одного куска алебаstra. Алебастр хороший, тёплый камень — нежный, розоватый, слоистый.

На хорах находится трон архиепископа, примаса Испании, а над ним алебастровый рельеф с изображением чуда, случившегося в 7 веке в царстве вестготов — Дева Мария дарует Святому Ильдефонсо священные одежды, посвящая его в епископы Толедо. Первый толедский епископ, Св. Ильдефонсо, получив ризы и благословение от самой девы Марии, тем самым утвердил первенство Толедо на испанской земле. Эта легенда очень важна для Толедо и Испании и изображается в соборе многократно.

Годы шли, вкусы менялись, пришло время барокко — удивитель-

ного стиля, который искусствоведы поругивают за излишества, а туристы исподтишка обожают. Для лучшего освещения иконостаса и находящихся за ним святых даров в потолке собора было прорублено огромное окно “транспаренте” в стиле барокко с испанской сумасшедшинкой, придуманное архитектором Антонио Нарсисо Томе. Это круглый свод под углом к полу, увенчанный окном, а по стенкам свода росписи, лепка и скульптура, незаметно переходящие друг в друга. “Транспаренте” приводится во всех альбомах по истории барокко — его ни с чем не спутаешь. Такого по-моему нигде, ни в каком Конфитюренбурге, больше не увидишь. Во всех других европейских дворцах и соборах, да и в Петербурге это буйство купидонов и завитушек упорядочено, собрано рядами и гирляндами под потолком, вокруг купола, а тут вдруг пожалуйста — дырка под углом, как будто потолок обвалился, и сверху в беспорядке посыпались небесные жители.

Устав от изобилия и толп, можно забыться на внутреннем дворе — оттого, что людей там почти нет, а значит нет и незримых флюидов, которыми мы пытаемся бессознательно повлиять на себе подобных. Пройдя через аркады двора, оказываешься в усыпальнице, расписанной итальянцем, учеником Джотто, с саркофагом полупрозрачного белого мрамора, и цветистым потолком. Изогнутые рёбра, расписанные драконами и цветным узором, делят потолок на синие секторы, на которых блещут золотые звёзды.

Выйдя из собора, ели, но что об этом рассказывать? Разве то, что мы были единственные посетители, и было ужасно неудобно пробираться к столику мимо метрдотеля, который стоял посреди пустого зала, как большой канделябр. Испанские официанты, непременно мужчины, суровые и малорослые, — серьезность необыкновенная, глубочайшее достоинство, — произвели на меня сильное и трогательное впечатление. Английского они не знают, знать не хотят, и питают заслуженное презрение ко всем этим туристам, которые не умеют говорить по-человечески и стало быть интеллектом ниже попугая, но есть хотят, разевают роты, бормочут бессвязные слова: “кушать, кушать...” и тычут в меню куда попало, в какое-нибудь “пульпо”, а потом в ужасе глядят на зажаренные до резинового состояния осьминожки кольца. Это гордое презрение было заметно и без слов, — не то, чтобы я с ними разговаривала, потому что по-испански я знаю название только одного продукта — “хуево” (“яйцо” — знать это слово очень важно, чтобы не промахнуться в меню мимо омлета), ну и ещё несколько глаголов в неопределённой форме типа “comer” (есть), “beber” (пить) и потом не дай бог

“ragar” не забыть. Ими я и оперировала, в инфинитиве...

В Толедо есть несколько синагог и мечетей, превращённых в церкви. Не пропускайте ни одной синагоги и мечети в Испании; они стоят осмотра из-за своей древности: ведь мавров и евреев из Испании изгнали ещё в 15–16 веке. К сожалению, христиане не ценили то, что им досталось, часто перестраивали, уничтожали каменную резьбу и резьбу по штукатурке. (Так у нас в Петербурге, в полном убеждении своей правоты, взорвали собор, построенный Растрелли). Тому, что выходило после перестроек, не всегда радовались. Когда прямо посреди великой кордовской мечети построили собор, даже Карл Пятый, у которого вообще-то художественного чутья было не больше, чем у Хрущёва, посмотрел и плюнул: “Уничтожили неповторимое, чтобы построить то, чего везде предостаточно!”

Первая достопримечательность — Синагога де Транзито (т. е. Синагога Вознесения Богородицы, извините за оксюморон): высокий пустой зал, золочёный потолок из кедровых балок в форме днища лодки, и под потолком широкая полоса искусной резьбы по штукатурке. Приглядываешься и видишь среди орнамента небольшие щиты, а на них не серп и молот, как вы конечно подумали, а лев — герб Леона и замок (“кастильо”) — герб Кастилии: дань уважения к правительству. Три стены покрыты охряной плиткой с рисунком. А восточная стена вся сверху донизу покрыта резьбой и напоминает повешенные на стенку три восточных ковра. На узорах сохранились остатки краски, выцветшие, delicate от старости. Узоры перемежаются с надписями на иврите и арабском языке. Это сооружение стало для меня предисловием к великолепным дворцам Севильи и Гранады.

Вторая синагога называется Санта Мария Ла Бланка, с тех пор, как переделана в церковь. Эта синагога, белая-белая внутри, продольно разделена на части двумя рядами колонн с характерными мусульманскими подковообразными арками, по высоте равными колоннам. В ней тоже сохранилось какое-то количество мусульманской резьбы и лепки — белой по белому, проступающей лёгким силуэтом в игре света и тени.

Самая интересная мечеть, переделанная в церковь (я в неё не попала) — это Месquita дель Кристо де ла Лус. На её месте вначале была церковь вестготов. Церковь, мечеть, церковь... Вот так-то.

После синагог мы отправились во францисканский монастырь Сан Хуан де лос Рейос (Св. Иоанна Евангелиста), в стиле фламандской готики, выстроенный по заказу католических королей (Фердинанда и Изабеллы), которые думали устроить там свою усыпальни-

цу. Строил собор любимый архитектор католических королей Хуан Гуас из Лиона, который сумел объединить фламандскую готику с мавританским стилем. Монастырь когда-то был одним из самых богатых в Испании и славился бесценными художественными сокровищами и библиотекой. Французы разграбили и изгадили его так основательно, что остались только развалины, и большинство того, что мы сейчас видим, воссоздано в конце 19 века.

Главный фасад собора нам оценить не удалось — он был окутан зелёными тряпками — из самых лучших побуждений. На боковом фасаде над входом посетителей поджидает ужасный горельеф — пеликан, ленивая птица, в магазин слетать не захотел и кормит детёныш кусками мяса из собственной груди.

Крыша собора окантована каменным узорным парапетом и небольшими шпицами с торчащими из них бомбошками — такие же странные шпицы есть и на Толедском соборе. Это всё тот же архитектурный стиль “платереско”. Водостоки оформлены как химеры готического собора, здесь есть фантастические животные и даже монах со здоровой бородой, вытянутый в струнку параллельно земле; по бороде-то наверно и стекает вода.

Собор внутри показался нам большим, свободным и пустым; если там и слонялись какие-то люди, то они были незаметны по ничтожности своих размеров. Украшен он скупой — только над главным порталом гигантские скульптуры и гербы в несколько рядов. Вдоль главного зала идут арки приделов, над арками окна, а между ними от пола до потолка высокие пилястры с пучками тонких колонок и статуи францисканских святых. На высоте примерно в полстены идёт нарядный резной фриз с каменной решёткой и сделаны два кружевные балкона, вырезанные из известняка. В расположении фризов, в манере их исполнения, в стремлении заполнить узорами, там где они есть, всё пространство, ценители видят мавританское влияние.

Я вышла во внутренний двор, окружённый галереей со всех сторон, и увидела апельсиновые деревья, вокруг них квадраты земли, поросшие травой, а вдоль стен на каменном полу пальмочки в горшках: всё упорядочено, природа взята под контроль и приносит плоды. Переплёты оконных проёмов, красивые, с завитками, как всегда в испанских церковных галереях, сделаны так, чтобы вид из окна казался картиной в раме. В обеих галереях, верхней и нижней, расписные рельефные деревянные потолки. Лиственничные жерди потолка инкрустированы перламутром, выложены в сложный мавританский узор, обрамляющий небольшие клейма с монограммами

“Рейос” — католических монархов, — львами, гранатами (символ Гранады) и другой нарядной чепухой. Горизонтальные балки под потолком верхней галереи ещё и оштукатурены и украшены белыми львами.

Пищу последовательно, связывая воедино прочитанное и увиденное, но эта непрерывность иллюзорна; память-то сохраняет лишь разрозненные картины: важное и интересное, или то, что теперь кажется совсем не интересным, но почему-то запомнилось, как чертополох на обрыве над Тахо... Вижу магазин с высокими потолками и музейными витринами прозрачайшего стекла, во чреве которых радуют глаз разноцветные марципановые клубничины, и абрикосины, и свернувшиеся в кольцо рыбы с глазами из засахаренных фруктов... Помню круто уходящую вниз улицу, залитую солнцем, запруженную туристами, так что двинуться в нужную сторону невозможно, и я застыла, как столбик, обтекаемый мягкими шелковистыми леммингами, бормочущими по-украински...

...Вспоминаю лавку чеканщиков на улице Альфонсо Девятого, где в полу стекло; смотришь вниз и видишь римскую систему сбора дождевой воды. Хозяин работает над очередной брошкой. Его изделия лежат тут же, в витринах — изящные подвески, серьги, ожерелья с золотым и серебряным геометрическим узором. Хозяйка любезно рассказывает о технологии знаменитой толедской чеканки. Сначала на стали делается рисунок и протравливается кислотой. Потом в желобки вкладывается золотая проволока и аккуратно вколачивается поглубже. Потом обработка специальной пастой и запекание в печи для сплавления золота и стали. Потом на поверхности золотых линий выбивается насечка из малпосеньких точек и рубчиков. К рисунку из золотой проволоки добавляется серебряная нить, но не помню, сразу же, или после. Так делается самый дорогой и трудный узор. Есть вещи другого стиля, с более крупным рисунком — листьями и птичками, условными, как узор на стенах синагоги Транзито, задача которых заполнить всё пространство медальона или брошки, вытесняя чёрный фон. Этот рисунок выбивают чеканами, забивая золотой лист в сталь, и они дешевле и проще. А самые простые сувенирные вещи просто штампуют.

В руках у меня сейчас как раз две такие брошки, из самых простеньких. То есть это фигура речи, — в руках у меня не брошки, а перо — с брошкой в кулаке много не напишешь. На самом деле эти брошки сейчас лежат в коробке, но я в любой момент могу вынуть их и рассмотреть хитрое сплетение цветов и листьев, и порхающую птичку — на каждой из них одно и то же, но не совсем то. Брошки

остались на память о давнем странном знакомстве. А в этой лавке не купила ничего, почему — и сама не знаю; ведь такие элегантные вещи больше нигде не сыщешь.

Хозяйка взялась проводить нас к раскопкам римских бань. На полдороге я сообщила ей на испанском, что я видела двух собак на балконе, на что она мне отвечала по-английски — “Да, голубей у нас тут много!” Без языка плохо. Хотела купить воды, послышалась огромная сумма. Продавец, невысокий, серьёзный и раздражительный мужик, написал цену на бумажке — совсем не то, что я думала. Потом я уже просто совала купюру, и мне иногда честно давали сдачу, а иногда обсчитывали.

Другая картина... Главная площадь Сокодовер с МакДональдсом. МакДональдс закрыт — в Испании этот шикарный ресторан открывается в полдень и работает до полуночи. Рядом кафе, где официант неловко пытается разлепить для меня нарезанные ломти ветчины и выкладывает сектор тортильи. Тортилья — теплая, вкусная, но что же я так жадно её ем, как будто не приходилось раньше есть варёную картошку, жареную в яйце? Рядом, с громкими выкриками, под грохот барабанов, негр учит испанцев танцевать какую-то мумбу-юмбу, но я мгновенно перестаю их замечать, — абсурд МакДональдса и африканских танцев в Толедо как будто поворачивает во мне выключатель, отстраняющий от действительности. Ко мне подходит пожилая нищенка с тёмным испанским лицом и молча, сурово протягивает руку. Я также молча кладу ей на ладонь монету. Через некоторое время она ко мне подходит снова, и я снова даю ей монету. Не потому что я добрая, не потому, что я верю в то, что ей нужны деньги (при прекрасном европейском соцобеспечении наверняка просила зря, по злокозненности), а потому что второе пришествие кажется шуткой. Ещё потому, что я не могу не подать старухе, олицетворяющей для меня прошлое времён моей бабки, а может быть, и моё будущее. В душе живёт глубокое внутреннее беспокойство — я не знаю, сколько ещё может продолжаться вот такая же сытая, благополучная жизнь, цветы на балконе, тортилья на чужой площади, возможность быть гостем, а не просителем...

Всё в Испании было начерно, всё я теперь уже осматривала бы по-другому. Но Толедо был особенно скомкан. На Толедо, где я провела полтора дня, нужно по крайней мере три-четыре. Хоть по улицам бы чуть-чуть побольше побродить, не говоря уж о музеях. Вот куда бы я пошла в Толедо, если бы у меня оставался ещё один день: в Музей Санта Исабель Де Лос Рейос с мавританским патио,

славящимся своей лепкой; в капеллу Св. Иосифа, увидеть алтарь по проекту Эль Греко с Коронацией Богородицы и Св. Иосифом с Христом; в монастырь Санто Доминго Эль Антигуо посмотреть на алтарь работы Эль Греко; в церковь Санто Томе ради “Погребения графа Оргаса” Эль Греко; в музей Санта Крус (Святого Креста), где находится большинство работ Эль Греко; на временную выставку из музея Эль Греко, закрытого на ремонт; и в музей герцога Лермы с картинами Рибейры, Сурбарана, Эль Греко. Везде Эль Греко, но я его не увидала. И что же это я? И как же это я? И почему это колесо истории вспять не повернуть, и не переделать даже собственное прошлое? Можно сколько хочешь ходить взад и вперёд и по игреку, и по иксу, и даже по зету, но вот ось “тэ” нам не даётся. Мы всё время съезжаем по ней в будущее. С ней что-то не в порядке; Эйнштейн перемудрил со своей теорией пространства-времени.







Доменико Теотокопулос

Да, Эль Греко... Толедо — город Эль Греко. Именно здесь он нашёл приют и признание после всех своих скитаний, здесь-то он стал тем Эль Греко, к которому мы привыкли, здесь жили его главные заказчики, здесь находится больше всего его картин.

В Эрмитаже есть только одна картина Эль Греко — «Пётр и Павел»: два немолодых измождённых человека, и почему-то сразу понятно, кто там Пётр, а кто Павел. Все мы её хорошо помним, на всех она произвела неизгладимое впечатление своей особенностью, непохожестью на всё остальное, что висело вокруг. Вот только если забраться на третий этаж с низкими потолочками к полузапретным картинам художников 20 века, то при виде синей девочки на шаре припомнятся те, которые внизу, в полутьме, с болезненно бледными лицами, и подумаешь: вот люди *не от мира сего*, у них задачи поважнее наших.

Сначала «Пётр и Павел». Потом была выставка картин с Запада, такого недоступного, что и название музея не припомнишь, и на выставке — «Пейзаж Толедо», написанный непривычно, скорее из нашей, чем из той эпохи, весь состоящий из кубов и блоков, полный *тёмной и грозной тоски*. А есть ли вообще такой Толедо, или он привиделся художнику? Захотелось увидеть остальное, да негде.

Дорвалась со временем до репродукций других картин Эль Греко, где-то в чужом доме, где хозяева покупают или достают “книги по искусству” (достать-купить неразрывно связано); увидела вытянутые в сосиску фигуры; трупные краски показались карикатурой на “Петра и Павла”, — и вот тогда я с ним рассталась. Нет, это не мой художник, мой мир не может состоять только из тоски, потусторонности, экзальтации. Я отношусь к искусству откровенно потребительски: нравится, не нравится. Я — зритель, и это к моим ногам с трепетом складывают свои дары великие художники, ожидая приговора, а я цежу “говно”, как в вещем анекдоте Хармса (“Четыре иллюстрации того, как новая идея огорашивает человека, к ней не подготовленного”), и художник, или его тень, закачавшись, валится на пол в припадке горя. Или не валится.

Я прибыла в Толедо с чувством, что Эль Греко мне чужой. А посему, когда в Толедо я в первый и последний раз в жизни, и на всё про всё отведено только два дня, — стоит ли тратить их на картины художника, который не нравится; лучше встретиться с Толедо, чем с Эль Греко. Так я и сделала. Пусть там толпятся его поклонники, те, кто понимает; а я — нет. Моя жизнь коротка, и мне хватит того, что я умею прожевать.

Теперь мне бесконечно жаль, что почти не увидела картин Эль Греко в тех церквях, для которых они предназначались, или хотя бы в музеях Толедо, так, чтобы выйдя, встретить то же, что видел он сам, когда писал эти картины. Я сделала глупость. Без Эль Греко нет Толедо, так же как без Толедо не было бы Эль Греко. И если выбирать, что прежде всего смотреть в Толедо, то выбрать нужно было бы именно Эль Греко, даже если его и не любишь. Не смотри репродукции, не ходи на выставки, но никогда не упускай возможности посмотреть картины большого художника там, где они были написаны, там, где он стал художником, и ты увидишь его работы в другом свете. Удастся прояснить для себя, что же действительно самобытно, а что порождено эпохой и культурой. Мысль простая, но чтобы дожить до неё, мне потребовалось поехать в Испанию, не встретиться с Эль Греко в Толедо, повстречаться с ним в Мадриде, и тогда уже его понять, вновь полюбить и раскаяться в непоправимо несодеянном.

Час прозрения пробил в Прадо, где есть зал с картинами великого грека, снятыми со стен толедских церквей — нет, нет, не насильственно; так сложилось исторически. Чему обязана — не знаю. Может быть, это эффект накопления: со мной такое сплошь и рядом; мне нужно прочесть сразу много стихов одного поэта или увидеть

много картин одного художника, чтобы его полюбить; мне нужен избыток, чтобы понять, о чем это. Может быть, развеска картин, напоминавшая церковную — свободная, симметричная, — настроила меня на нужный лад. А может быть, просто надо останавливаться и смотреть, настойчиво, не давая себе поблажки, и тогда наконец-то заскучает и умолкнет услужливое левое полушарие, которое любит подсунуть простенькие фактические объяснения — мол, нарисованы предметы, водка, селедка, череп. Нечаянно, непредсказуемо произойдёт подключение к подсознанию, картина заговорит напрямую с правым полушарием, и наступит мгновенное понимание того, для чего нужна тысяча знаков на странице.

В Прадо картины висели высоко, никто их не заслонял. Они были такие же длинные и узкие, как русские фрески на пилонах. И фигуры на этих картинах были так странно растянуты, как растягивают наших русских святых церковные художники. Я вдруг догадалась, почему он так писал, откуда эта отчуждённость вытянутых тел, поданных с неожиданной точки, откуда отсутствие перспективы, искажение пропорций, нереальность происходящего. Ну как же я сразу не узнала этот мир, привычный и мне, и Эль Греко — византийские иконы? Я не узнала его, как не вдруг поймёшь русское слово, произнесённое с акцентом. Картины Эль Греко утратили гармонию и спокойствие православного канона, в них появились католические надрыв и страдания. Вкладывая в картины собственную Западу и католицизму непростую и негармоничную сущность, Эль Греко при этом применял приёмы православной иконописи. От этого контраста, дисгармонии, несоответствия формы и содержания, картины Эль Греко вызывают беспокойство и тревогу: внимание, в них что-то не так, что это, что это — нужно рассмотреть подробнее.

На каждой картине была подпись — «Доменико Теотокопулос», а под картиной табличка — «Эль Греко», грек. Видно, приехал из Греции, хотел писать по-западному, но не смог до конца расстаться с эстетикой восточной иконописи, отлучить себя от прошлой жизни.

О том, кто он, и откуда, и как попал в Толедо, я не знала. Решила проверить свои догадки и, вернувшись домой, взяла в библиотеке книгу о художнике — «Эль Греко», каталог выставок музея Метрополитен и Национальной галереи Лондона в 2003–2004 гг. Это не просто какой-то там альбомчик. В наше время каталоги — отдушина для искусствоведа, выплески эрудиции. Без них непонятно, где и напечататься: репродукции денег стоят, а как без них писать о художнике?

Вот что я прочитала. Я унюхала правильно. Действительно, Доменико в молодости писал иконы на Крите, и некоторые из них сохранились — вполне традиционные изображения, которые воспроизведены в каталоге. Тем не менее, специалисты находят, что даже в ранние картины он вводит сюжеты и позы, заимствованные из религиозных и светских картин его западных современников.

Да, подумала я, художник, воспитанный в византийской иконописной традиции, который захотел писать по-иному, должен был уехать для этого на Запад, а то бы где ему выучиться и кому сбывать картины? Доменико перебрался в Венецию, перешёл в католицизм (или может быть в другой последовательности?). И начались его скитания. В Венеции он учился приемам Тинторетто, Тициана и Веронезе, но выше всего ценил Пармиджанино — хм, теперь понятно, откуда в его картинах столько от маньеризма! Пармиджанино, тот... но сейчас не о нём.

Я впервые увидела ранние работы Эль Греко только в этом каталоге. Честно говоря, увидев их без подписи, я бы никогда не подумала, что это Эль Греко. Я бы решила, что это плохой итальянский художник: какой-нибудь трудящийся, который хотел пойти по инженерной части, но мама записнула его в венецианское Мухинское. Хотя... Первые картины Эль Греко итальянского периода напоминают корявые копии, которые делал Ван Гог в годы ученичества. У обоих прорывается какая-то зверская и упорная экспрессия.

Из Венеции Эль Греко пробует переехать в Рим, где было тогда засилье испанцев, и нашлись кое-какие друзья, потом возвращается в Венецию. Пишет он в это время в манере современных ему итальянцев, и достаточно ловко. Успехом пользуются только его портреты, в остальном удачи в Италии нет, и вот Доменико появляется при дворе Филиппа II Испанского (не понравился королю), а потом в Толедо, где к нему наконец приходят слава и признание.

В Толедо с Эль Греко происходит странное преобразование; от венецианских влияний не остаётся и следа, пропадает реалистичность, хорошо прежде освоенная перспектива, и картина становится не отображением действительности, а воплощением идеи. Видно, что пишет он умозрительно, а не с натуры. Не следует думать, что такая манера была тогда популярна, отнюдь... Доменико отставал от нового поколения художников — Караваджо, Веласкеса, и может быть поэтому он был признан только в провинциальном Толедо, а не в столице, и так быстро забыт после смерти. Переоткрыт Эль Греко был только в 19 веке, и уж тогда на него полились похвалы как из ведра, тогда его стали сравнивать с Сезанном. Кстати, и

правда что-то есть общего между Сезанном и Эль Греко — изгиб мазка, что ли? Или выжженные краски средиземноморского юга?

Таким образом, в жизни Эль Греко был период критский, был итальянский, был толедский, и обыкновенному человеку вроде меня невозможно догадаться, что это всё один и тот же художник. Такое резкое изменение стилей в течение жизни можно видеть только у ещё одного экспериментатора — Пикассо. Объединяет этих людей, разделённых столетиями, склад личности, вечное стремление к эксперименту, которое с первого взгляда кажется проявлением творческой незрелости, но со второго — интеллектуализмом, непрерывными попытками вдарить алгеброй по гармонии. Только в отличие от Пикассо, который в конце жизни далеко ускакал и от розового периода, и от голубого, Эль Греко вернулся к тому, что он вначале отринул. Вернулся к себе самому, такому, каким он был раньше.

Отчего же живописная манера Эль Греко описала полный круг, или может быть энгельсову спираль? Отчего он выбрал манеру письма, уже в то время казавшуюся архаичной, и дал ей пожить ещё немножко?

Интуитивно мне кажутся главными два фактора в жизни Эль Греко: его переход в католицизм и природа Испании. Вначале о вере. Когда взрослый человек сознательно переходит из одной веры в другую, он выбирает то, что наиболее соответствует его мироощущению, то, к чему он тяготеет. Собственно с католицизмом я мало знакома, так же, как и с православием, и могу судить об обоих вероисповеданиях только косвенно, на основе икон и картин, находящихся в церквях. Каждому видны серьёзные различия между идеализированной иконой и практически жанровыми картинами в католической церкви. В православной церкви нет ни одного безобразного изображения — царствует гармония, торжествует Христос Вседержитель. В католической церкви всюду голые истерзанные тела, глаза на тарелке, топоры в черепе, путь на Голгофу и распятие. Это два разных видения мира, это акцент или на искупление, или на страдание. Для Доменико Теотокопулоса страдание было важнее искупления.

Но полностью прошлое он не отринул. Вероятно византийский религиозный экстаз был близок к иступлённому католицизму тогдашней Испании и в особенности Толедо. Как раз в это время испанская церковь — единственная церковь, реформированная изнутри, церковь, из которой все слабости и недостатки, присущие духовенству остальной Европы, были выжжены калёным железом ещё до лютеров и цвингли — возглавила движение контрреформации.

Центром этого движения оказался Толедо, который к этому времени уже утратил роль столицы, но оставался резиденцией примаса Испании.

Нам даже трудно теперь представить, насколько религия пронизывала жизнь тогдашнего толедского общества, как жадно читались и обсуждались религиозные трактаты. В Толедо появилось множество монастырей. Многие жители входили в общества, формально не относящиеся к монашеским орденам, но стремившиеся достичь духовного совершенства в соответствии с принципами, глубоко продуманными Терезой Авила́ской и Сан Хуаном Де Ла Крус и названными в популярном трактате “Имитация Христа”: отрицание жизни телесной и обращение к жизни духовной, идея молитвы-медитации и молитвы-созерцания, приводящих к мистическому единению души с Богом. В такую атмосферу попал Эль Греко, а он был склонен к философскому осмыслению мира и, стало быть, почувствовал себя как рыба в воде среди своих друзей — испанских религиозных философов.

Религиозное мировоззрение контрреформации уходило корнями в философию неоплатонизма. Неоплатонизм, переосмыслив идеи Платона о существовании идеальных форм, оказал огромное влияние и на тогдашнюю философию художественного творчества. Если Платон, в силу своего дремучего идеализма, считал, что эти Формы увидеть человек может только до рождения или после смерти, и точка, то неоплатонисты решили, что Формы всё же можно вообразить. И если так, то тогда огромная роль в раскрытии религиозных принципов вселенной принадлежит именно художнику; его задача — изобразить идеальные образы, которые лежат в основе вещей; он не должен отображать реальные объекты, искусство не должно быть натуралистично. Образ скульптора, который убирает всё лишнее, нами воспринимается, как удачная шутка Микеланджело, но на самом деле этот образ употреблён неоплатониками всерьёз, и смысл его в том, что лишнее реально существует в конкретной вещи, и скульптор должен его отбросить, чтобы раскрыть её суть, красоту идеала.

Эти представления возвышают роль художника в обществе, превращают его из ремесленника в творца, и не удивительно, что Эль Греко глубоко поверил в возвышающие его профессии принципы, как и многие другие художники его времени. Только он, как свидетельствуют его выбор друзей и круга чтения, имел более серьёзную философскую подготовку, чем многие художники, больше думал об этих вопросах и потому пошёл гораздо дальше по пути идеализации

картины, возвратился к хорошо ему знакомым приёмам иконописи, устаревшим, но зато прекрасно приспособленным к отображению идеальных форм.

Всё, что Эль Греко выучил в Венеции, было выброшено на помойку — перспектива, пропорции, смешение красок. Фигуры на толедских картинах вытянуты, вертикаль, угодная Богу, проявляется в наклоне головы на длинной шее, в благородном изгибе фигуры, склоняющейся перед младенцем Христом; нет теней, потому что свет не освещает, не в этом его суть, божественный свет, просвещающий духовно, есть антитеза тьмы. Цвета на картине — чистые, яркие — не такие, какими мы обычно их видим, напоминающие о божественном сиянии евангельского Иерусалима.

Что касается влияния испанской природы на стиль Доменико... Когда-то мне довелось увидеть документальный фильм “Пикассо и Брак”, в котором было показано тесное родство кубизма и геометрии голого испанского ландшафта. Положи рядом фотографию испанской деревни на откосе горы и нагромождения абстрактных кубов раннего Пикассо, и покажется, что он написал реалистическую картину. То же мы часто видим и у Доменико: зачатки кубизма и таким образом родство с Пикассо, — произвольное, под влиянием испанского ландшафта, его чистых красок, резких границ света и тени, упрощающих контуры предметов. Если взглянуть в пейзаж Толедо (что я легко могу сделать, потому что картина Доменико “Лаокоон” с видом Толедо находится в Вашингтонской национальной галерее), то не Пикассо ли помогал его нарисовать? То, что в период появления “Барышень из Авиньона” Пикассо увлекался Эль Греко — известный факт, и барышни эти, если им зашлифовать излишние кубистские изломы, хорошо вписались бы в того же “Лаокоона”.

Испания должно быть подошла Эль Греко как ключ к замку. Но подошёл ли Эль Греко Испании? Как странно ведёт себя Эль Греко, опровергая наши представления о большом художнике — сутяга, погрязший в многолетних тяжбах с заказчиками, транжира, живущий не по средствам: роскошная одежда, музыканты во время обеда — зачем он так? Может просто купеческая жажда жизни, хотелось хорошей музыки и хорошей пищи, наголодался там на этом Крите. Но скорее желание доказать миру, что твоё место в первых рядах, а не там, где отвело тебе общество. Доменико художник, — положение в испанском социуме 16 века амбивалентное, — и иностранец. Всю жизнь он подписывал свои картины “Доменико Теотокопулос”, и всю жизнь толедцы называли его “Эль Греко”. И после смерти он остался для испанцев чужим — с небрежностью ли, с гордостью, с

восхищением ли — но “грек”. Он всегда посторонний, пытающийся войти в замкнутый от него круг (а Пушкин, что это он так часто называет себя Арапом?). Как и наши эмигранты, Доменико приехал на Запад, ожидая, что там устройство общества более справедливое, культура более современная, условий для творчества больше, и уткнулся носом в тот факт, что он всегда и для всех останется экзотической птицей, а его таланты будут оценены лишь немногими; он хотел успеха в Нью-Йорке, но его признал только Канзас-сити.

Толедо виден весь, как на ладони, с противоположной стороны ущелья Тахо, из экскурсионного автобуса, сделанного в виде паровозика. Отсюда когда-то и Доменико рассматривал город, чтобы писать потом пейзажи Толедо. (Доменико наверняка приезжал верхом, и не на кляче какой-нибудь, а на хорошем коне с дорогой сбруей.)

Положим, я стою на том же самом месте, что и Доменико, и рисую вид Толедо. Это нетрудно — Толедо состоит из вертикальных и горизонтальных линий. Ни окружностей, не зигзагов в нём вы не найдёте, за исключением порталов и ворот, но они издали не видны. Чуть-чуть сместив акценты, я могу превратить мой пейзаж в абстракцию. Мне легко, потому что до меня уже многое произошло — фовисты, кубизм, абстракционизм: во второй половине 20 века неоплатоновая идея наконец-то вырвалась на свободу и пожрала и цвет, и форму, и здравый смысл. Но Доменико-то никогда не видел и не увидит ни Сезанна, ни Матисса, ни Ван Гога, ни Пикассо. Он видел только этот красноватый холм с торчащим из него городом и написал “Вид Толедо” — картину, с которой не мог потом расстаться до самой смерти; картину, которая потом так поразила ленинградских зрителей на выставке в Эрмитаже. Да, ещё этот вид мог бы написать Пикассо, может быть с помощью Ван Гога.

Цвета в этом пейзаже беспокойные, Ван-Гоговские — зелёный с тёмными пятнами для холма; серый для зданий; чуть-чуть синего, только на небе. И всё же это не Ван Гог, это Доменико Теотокопулос: ирреальный свет, не бросающий теней, идущий ниоткуда, небо с яростными грозowymi тучами, Диес ире, Рекс тременде. Доменико переместил здания, которые есть, и добавил те, которых нет: Толедо ли это, или идея Толедо, сущность места, которое, наперекор толедцам, Доменико считал своей родиной? Так на многих видах Петербурга, продающихся сейчас на Невском, переданы только дух города, легенда; но размышлявшие об идеализированном прошлом, о столице о европейской с первым призом за красоту, вы даже и не вспомните, что этого пейзажа нигде не найдёшь, потому что ни-

чего, кроме фикции, неоплатонической идеи, нам, мечтателям, и не нужно.

Некоторые города входят в сердце человека и становятся его частью. Не все, только те, у которых есть объединяющая идея — история ли так распорядилась, или воля одного демиурга-творца. Идея Петербурга познаётся в июньской полночи, в отражающемся от воды переливчатом свете. Идея Толедо постигается, когда в новом зелёном плаще и ладных сапогах едешь на осторожной андалузской лошади по ущелью Тахо, и вдруг перед тобой вырастает глыба города, — сначала корона Алькасара с двумя зубцами, потом четкие горизонтальные ряды крыш, а из-под них полоса крепостных стен — вырастает, как продолжение скалы, как друза минерала, торчащая посреди пустынного рыжего плоскогорья.



Дорога в Гранаду

Туристы в Испании были всегда — сначала паломники, потом зеваки. От путников кормилось множество постоянных дворов и разбойников. Дорога, хоть верхом, хоть в повозке, занимала много времени, требовала частых остановок, бесед, ольи-подриды с малагой, навоза к копытам, национальных костюмов, песен и танцев. В 19 веке пошла перестройка с ускорением, помчались по дорогам запряжённые мулами дилижансы, отбивая пассажирам печёнки под зажигательные крики возниц: *“Ну, падаль, ну, капитанша!”* или ещё похлеще. Случались и накладки: *“Когда первый дилижанс, назад тому лет двадцать, отправился из Мадрита, — за несколько миль от Мадрита он был остановлен толпою народа и сожжён вместе с чемоданами путешественников”* (Боткин).

Увы, такая принципиальность и бескомпромиссность уже не свойственны испанцам, потому что автобус будет покрепче дилижанса, и жечь его умаешься. Хочется кричать “падаль”, но непонятно, кому. Романтика общественного транспорта скисла, обезличенный водитель ведёт себя тише воды, ниже травы, да и пассажиры не лучше, — молчат, культурно пользуются сортиром, и одеты чёрт знает во что с кроссовками — я по крайней мере. Боткин любовался разнообразием народной испанской одежды и противопоставлял им безвкусице французских костюмов, но мне даже до убогой парижской моды далеко, и с парижанками меня роднит только *“неподвижность физиономии, тупость черт и лимфатическая тучность”* (Боткин).

Автовокзал в Толедо уже не удивил меня тем, что он такой обрусевший — бедный и облупленный. На верхнем этаже, где мне долго что-то объясняли и наконец объяснили, я купила билеты в Гранаду через Мадрид. К автобусам спускаешься на нижний этаж по эскалатору: все автобусные вокзалы в Испании двухэтажные, таков здесь народный обычай. В Мадрид шло одновременно два автобуса (всё-таки наверно боятся погромов или атаки Дон-Кихота), и на билетах указывалось, в какой садиться, первый или второй. Автобусы были двухэтажные, как вокзал: в брюхе багаж, а наверху салон с большими окнами; сидения внутри вполне сносные, с приступочками для ног. По дороге мы не увидели ничего интересного, кроме гигантской статуи Христа с распростёртыми руками. Впоследствии такие статуи попадались нам часто, в самых неожиданных местах, и были совершенно одинаковыми, как в России белые бюсты Ленина.

В Мадриде автобусная станция оказалась гигантская, с электронными табло, большими и маленькими, и просторным кафе, наполненным бананами, сосисками и прочими лакомствами, хотя вин в кожаных бурдюках, которые отбивали аппетит у Боткина, я там не заметила. Состояние было премерзкое, горло сдавило спазмом, и есть я не могла, подтачивало чувство беспокойства, ответственности за поездку. Странно, почему я так волновалась — ничего настоящего страшного с нами произойти не могло. Ну, опоздаем на автобус, или в уборной не окажется туалетной бумаги. А вот во времена Боткина мои заботы были бы не мнимыми, а реальными: я бы торопливо отсчитывала триста песет — такую сумму полагалось носить при себе на случай встречи с разбойниками.

К югу от города, который мы теперь называем не Мадритом, а Мадридом, лежит провинция Ла Манча, родина Дон Кихота. *“Эта унылая провинция вся состоит из равнины, на которой нигде нет воды, ни одного холма, ни одного дерева. Глаз свободно уходит в даль, не встречая ничего, кроме красно-серой почвы и тёмно-голубого, чистого неба; только к югу, словно густой туман, что-то виднеется в этой пустыне: это Сиерра-Морена”*. Вдоль дороги рядами виноградники, на обочине плоские быки из жести, вдали стрекозиные силуэты современных ветряков на худеньких до прозрачности металлических вышках, — так высоко, что копьём и не дотянешься. Удивило то, что мы почти не видели на своём пути ни городов, ни поселений, ни даже отдельных домов, что впрочем и Боткин отмечал: *“Дорога... печально-живописна: селений мало, изредка по горам виднеются одинокие дома, большие, полуразвалившиеся”*. Я не могу объяснить этого факта. Может быть, испанцев всё ещё мало, а может быть, как сказал Боткин: *“Испанец не любит съёживаться, он живёт сально, бедно, но широко”*.

Действительно, сальновато они живут — я могу это подтвердить после посещения общественных мест. Но особой бедности теперь не видно. На полпути мы по испанскому обычаю остановились минут на сорок размять ноги и надеялись на цирк, обещанный Боткиным: *“В каждом селении дилижанс окружали толпы нищих, дети в лохмотьях, дети вовсе голые, старый и малый, — все просят милостыни”*. Но парковка рядом с забегаловкой и домом престарелых с несколько вызывающим названием “Непорочное Зачатие” была пустынна.

Ах, как мельчает жизнь, как она делается всё удобнее и скучнее. Взять например постоянный двор-венту времён Боткина: *“Вента состоит обыкновенно только из одной очень большой комна-*

ты, складенной из неотёсанного камня, скреплённого известью, с каменными камнями вокруг стен; пол тоже каменный и огромный очаг”. Наша вента состояла из одной очень большой комнаты, складенной из стекла и бетонных балок, с пластиковыми столами и огромнейшим туалетом. Вдоль комнаты простиралась стойка бара, и, отстояв очередь, мне удалось договориться о кофе с молоком и расплатиться хитрейшим способом — дав купюру, заведомо большую разумной цены чашки кофе. Хорошо, что за булочками не пришлось посылать в ближайшую деревню, как это случалось с Боткиным, или приносить в столовую припасы с собою, как требовалось от Гарри Франка (на вопрос: “Будет ли ужин?” — на постоялом дворе ему бодро отвечали: “А вот что принёс, то и приготовим”).

“Товарищи мои испанцы”, вместо того, чтобы делиться сигаретами и рассуждать о разбойниках, молча топтались вокруг автобуса. На столбе висело объявление: “Девять отважных быков, Хосе Каллио и Антон Кортес примут участие в монументальной корриде”. К корриде можно относиться по-разному. Боткина коррида потрясла, Гарри полюбилась, но до Хемингуэя их очеркам далеко. Хемингуэй останется непревзойдённым певцом этого зрелища, по крайней мере для иностранцев. Вот уж любил Эрнест кровь и песок, и “мужество отчаянных парней”; любил не меньше выпивки. Многих других от боя быков воротило. Известный коллекционер Луизина Хавермайер рассказывала, что вечером ей в глотку не лезло даже простое советское консоме, несмотря на то, что муж увёл её с корриды после первого же бычьего трупа, приговаривая: “мало мы им дали в испано-американской войне”.

Мне, особенно после этого объявления, где к людям и к быкам подходят на равных (“бравос торос”), захотелось вступить за испанцев. Мне не кажется, что испанцы самые кровожадные и жестокие в отношении к животным; коррида гораздо справедливее многих других развлечений, которыми тешатся люди. В корриде рискуют и бык, и человек. Лучше и справедливее её только бокс. А возьмите псовую охоту, например охоту на лис в Англии — там человек ничем не рискует, разве что свалится с лошади после слишком большой порции портера. Рискуют только лис, который под лай и визг своих убийц, бежит, не разбирая дороги, пока не разорвётся его маленькое сердечко. И тем не менее, скажешь “Испания”, и услышишь — “Там коррида, зверство”, но я не встретила ещё ни одного человека, который сказал бы: “Вы едете в Англию? О-о, это ужасная страна — там собаками травят лисиц!” У меня закрадывается подозрение, что в корриде людям подсознательно жалко чело-

века, а не быка. Вот ей-богу, если бы матадор пускал быку пулю в лоб из-за забора, отношение к корриде у иностранцев было бы куда благосклоннее.

Прощай, равнина Ла Манчи с быками, ветряками и вентами! Постепенно начинаются бесконечные холмы и горы Сиерра Морена, перевалы, крутые извивы дороги. По обочинам маки, тёмно-жёлтый кустистый дрок, охапками светло-жёлтая сурепка. На склонах сплошь оливы, оливы, оливы — старые, узловатые, и совсем молодые.

Под масличными стволами пусто — то ли трудолюбивые испанские крестьяне всю травку выщипали, то ли сами оливы заботятся о том, чтобы у них под стволами ничего не было, подтравливают растительных соперников. Корявые стволы, чёрные от облачной сырости, покрыты густым ворсом тоненьких веточек, на которых и созреют маслины — только новые ветви плодоносят. Некоторые стволы повыше, постарше, некоторые поменьше, но все с чудовищно искорёженными ветвями, с наплывами, потому что ветви эти столетиями немилосердно стригут и режут, превращая оливы в сельскохозяйственные бонсай. Производить оливки можно заставить и старое, запущенное, высокое дерево, но тогда на него придется залезать по лестнице, и разрастаться оливе обычно не дают.

В оливковом дереве, коротком и коренастом, прирученном, и, как породистая собака, изменившим форму при одомашнивании, есть магия тысячелетней связи с человеком. Афина Паллада подарила его древним грекам, и афиняне поклонялись посланному с небес обручку старого дерева. Прозрачная жидкость с терпким вкусом была для них основой жизни. Атлеты на Олимпийских играх состязались ради амфор с драгоценным маслом. Другие масла уважают меньше. Никогда не увидим мы на обложке “Огонька” фотографию счастливого Гарри Каспарова на фоне выигранных им в международном матче бутылок постного масла.

Олив в Сиерре Морена множество, и становится всё больше. Всюду видны новые, свежераспаханные участки склонов с торчащими из них вихрами маленьких олив. Сначала думаешь — как живописно, как оригинально! Потом становится скучно и даже не по себе — кто же это выпьет всё это масло? И что произошло с деревьями, кустарниками, травами, которые росли в горах до прихода жадного человека?

Дорога крутит и вертит, проходит через перевалы, наконец спускается с гор в долину Гвадалквивира, широкую, обрамлённую невысокими холмами, отягощённую производством продуктов питания.

Сам Гвадалквивир не заслуживает упоминания, такой он в своём верховье мелкий и плюгавый. Этот Гвадалквивир может быть и шумит, и поёт, но тихо, как муха в стакане.

Мы въезжаем в Андалузию.





Гранадские мавры

Что останется от прошлого, трудно заранее предсказать — исчезли города, целые народы бесследно канули в тёмную яму истории, но вандалам уже нечего бояться бега времени — они сумели оставить о себе живую память в языках всех народов: сколько раз мы с вами бурчали “вандалы” при виде сожжённого почтового ящика, разбитого стекла в парадной! Есть чем гордиться, хотя, увы, некому — вымерли веков пятнадцать назад. Второе слово, оставшееся после вандалов — Вандалусия, со временем превратившееся в Андалузию.

“Четыре провинции, которые составляют Андалузию, сохранив между испанцами своё старое название королевств, суть Хаэн, Кордова, Севилья и Гранада. Эта южная часть Испании была всегда предметом привязанности народов, проникавших в неё и поражённых удивительным богатством её почвы” — Боткин, конечно.

В Андалузию во множестве едут те, кому хочется вкусно покусать и погреться на солнышке, поглазеть на корриду или пасхальные религиозные шествия, и те, кто хочет увидеть воплощение двух несовместимых идей — мусульманскую Европу. Заметьте, что хотя история любой местности насчитывает ровно столько, сколько история всего человечества, но мы, туристы, всегда выбираем себе определённую эпоху, и все, что случилось до или после, в глазах приезжих только предисловие или постскрипtum к самому для них интересному периоду. В Венеции это время дождей, во Флоренции — Медичи, в Новгороде — республика. А Петербург? Несомненно, 19 век. Потом были революция, блокада, но это уже история Ленинграда, или Питера, как его теперь называют, простодушно видя в том особый шик, или культурную причастность. Кто бы ни приехал в Петербург, идёт в Эрмитаж, а не в музей ленинградской блокады,

и ищет не Большой дом, откуда в не столь отдаленные времена спускали в Неву костную муку из замученных людей, а Сенную площадь романов Достоевского.

Города Андалузии мечены мавританским прошлым. Если читать книгу истории последовательно, то начинать надо с Кордовы, — потом ехать в Севилью, и уж потом в Гранаду. Но я не жалею, что начала читать книгу с конца: если не следовать исторической логике, а пытаться постичь наиболее характерное в мавританской культуре Андалузии, Гранада самое лучшее начало. Это “высокая готика” арабской культуры.

Гранада, название которой ведётся от слова “гранат”, или по крайней мере с ним прочно ассоциируется, основана то ли иберийскими племенами, то ли финикийцами, пережила римскую империю, арабский султанат, эпоху Возрождения, барокко... но доминирующая нота в Гранаде — мусульманская архитектура.

О мусульманской цивилизации в Испании и эпохе Реконкисты я уже рассказывала, а сейчас кратко расскажу о самой Гранаде. Конец замечательной мавританской цивилизации Иберии — начало расцвета Гранады. 250 лет её благоденствия начались в 1238 году, когда на руинах древней крепости, разрушенной во время междоусобных войн самими арабами, Мохаммед Ибн Аль Амар, один из самых любимых в Гранаде султанов, построил новую крепость Аль-касаба и дворец Альгамбру.

Султаны были хорошие люди, любили читать книжки, относились к своим подданным по-доброму, и те их любили. Самыми замечательными были Мохаммед и его потомок Юсеф, убитый фанатиком. Но увы, они не могли и не хотели соревноваться с кастильскими королями, и Гранада была обречена. Чтобы оттянуть гибель Гранады, Мохаммед заключил договор с Фердинандом Третьим Кастильским и стал его вассалом. Союз с Фердинандом, как с дьяволом, был подписан кровью (гранадцам пришлось воевать со своими братьями-мусульманами), но купил Гранаде длительную мирную передышку.

В это время Гранада процветала и вбирала в себя всё новые волны мусульманских беженцев со всей Испании. И путешественники, и жители Гранады считали её раем. Гранаде принадлежала плодородная долина у слияния рек Хениля и Дарро, где было вдоволь воды и вдоволь еды. Плодородие района было многократно усилено благодаря умению арабов максимально использовать природные условия: “веха” Гранады была покрыта ирригационной системой, сложный ритм орошения задавал звон колокола “Ла Вела” с башни

крепости Алькасаба. Зимой жили за крепостными стенами, весной храбро выезжали целыми семьями в долину, возделывать земельные участки. Никто не голодал, бедняки ели ячменный хлеб, богатые люди — пшеничный. Запасали на зиму сушёные фрукты.

Самые искусные ремесленники Иберии были из Гранады — ткачи, вышивальщики, оружейники и ювелиры, мозаичисты, гончары, резчики по дереву и слоновой кости. Гранада славилась плетением из золотых нитей (пояса, подвязки), вышивкой золотом по коже, коврами, керамикой: от простых глиняных сосудов элегантной формы, до драгоценных фарфоровых ваз с золотым рисунком по бирюзовому фону. Богатели, полюбили одеваться в разноцветные одежды, и современник Ибн-Аль-Хатиб сравнивал гранадцев в мечети с цветущим весенним лугом. Женщины, невысокие и полные, носили ручные и ножные браслеты, ожерелья, подвязки и шарфы, украшенные гранёным золотом и серебром, цирконами, топазами и изумрудами.

Как писал Аль-Хатиб, большинство населения составляли иностранцы (для него потомки коренных жителей Испании были, в отличие от арабов и берберов, иностранцами). Да даже сами арабы, живущие в Гранаде, мало были похожи на арабов, всё-таки восемь столетий прожито бок о бок с «иностранцами», у них были голубые глаза, светлые волосы, которые из уважения к арабским корням красили в чёрный цвет. Вначале в Гранаде, окружённой христианскими королевствами, стали распространяться христианские обычаи и одежда. Но чем теснее сжималась удавка вокруг горла Гранады, тем более гранадцы возвращались к обычаям предков-мусульман.

Последним правителем Гранады был Боабдил (Абу-Абдулла). Жизнь его не задалась смолоду — родной отец пытался его убить по наущению любимой жены Зарайи (её настоящее имя Изабелла де Солис) — вот к чему приводит многожёнство. Султан заточил Боабдила и его мать Айшу в башню Алькасабы Торре де Комарес, откуда предприимчивая султанша спустила Боабдила вниз по веревке — видать, тогда она ещё возлагала надежды на сына. Неясно, захотела бы она его спасти, если бы знала будущее.

Боабдил вышел *на свободу с чистой совестью*, но тут же попал в плен к кастильцам. После всевозможных перипетий, в том числе личного знакомства с Фердинандом Арагонским, которое не принесло ничего хорошего ни Боабдилу, ни его будущим подданным, Боабдил унаследовал трон своего отца, но ему достался только город, остальная часть Гранадского эмирата отошла его дяде, кото-

рый быстро сдался в плен испанцам со всей своей недвижимостью. Ненасытные или непреклонные (как вам больше понравится) Изабелла и Фердинанд подошли к стенам Гранады и построили осадный городок. После нескольких стычек Боабдил без боя сдал Гранаду, понадеявшись на обещания католических королей о том, что город не тронут, и уехал в изгнание.

Гранада была такой крошечной, что не представляла никакой опасности, и взятие её было обусловлено только желанием христиан захватить всё, что есть в округе, выгнать мавров и морисков, и самим всё съесть. Сначала захватчики были вежливы, солдатам даже запретили влезать на стены Алькасабы, чтобы они не подсматривали за частной жизнью мусульман. Но недолго короли держали своё королевское слово. Их не остановило даже то, что вся экономика района держалась на мусульманах. Цветущий луг был скошен, архиепископ радовался, сжигая арабские книги. Тысяч 80 он сжёг, — дон Хименес де Сиснерос, духовник королевы, изображённый вместе с нею на резной панели хоров Толедского собора. Мусульмане сначала платили отступные за право жить по-старому, так же, как христиане должны были платить мусульманам в странах ислама, и работали на самых тяжёлых работах. Потом их так прижали, что начались восстания, и наконец христиане выгнали всех мусульман из Испании в Африку. Пошло ли христианам впрок это изгнание — другой вопрос. Христиане не могли и по своему невежеству не хотели поддерживать ирригационную систему вехи, и после изгнания морисков веха постепенно разорилась, да и не только веха — огромные районы Иберии пришли в запустение, поскольку пропали работники и накопленные ими знания.

Я не за ислам, и не за христианство — мне просто *“жаль того огня, что воссиял над”* Кордовой, а потом над Гранадой. История показывает, что всякой высокоразвитой цивилизации суждена гибель от руки варваров. Так и будет воспроизводиться этот цикл, пока человечество не вымрет. Ключи от гранадских домов до сих пор хранятся в марокканских семьях, и может быть не напрасно.



Гранада

Прочитала: если в Испании можно посмотреть только один город, пусть это будет Гранада. В Гранаду два пути: с юга через горную цепь Сиерра-Невады, где безжизненные скалы внезапно превращаются в жизнерадостную зелень — так приходили финикийцы и римляне — и с севера, по плодородной долине Хениля, как приходили вандалы и готы, перед которыми вдруг появлялась неприступная крепость красного песчаника на фоне словно парящих в воздухе снежных шапок Сиерра Невады.

Мы въехали с севера, но каким-то образом исхитрились не увидеть ничего достойного — надо всё делать в своё время, вместе с готами и вандалами. Встретили нас пригороды Гранады с однообразными некрасивыми домиками: ещё со времён путешествия по Швейцарии я поняла, что слухи о том, что советские архитекторы нарочно строили плохое, тесное, убогое и бедное жильё, несколько преувеличены — они просто строили так же, как и на Западе.

Выйдя на перрон вокзала, я искусно приспосабливаю на себе всяческие грузы: сумка через плечо, зажатая подмышкой, портфель на ремне и большой чемодан на колёсах. Внутри всё время гложет беспокойство — как бы чего не спёрли, особенно паспорт — где я возьму другой?

Вспоминаю длинные неухоженные помещения вокзала, стеклянную перегородку между мной и кассиром, моё ощущение раздражённости и беспокойства от того, что надо думать и действовать. Нужно было купить автобусный билет в Севилью.

Потом проехали на такси по широкой улице Гран Виа де Колон (Колумба), застроенной приличными, аккуратными домами; многие явно последней четверти 20 века, бетонные с лоджиями. В конце, на

пересечении с улицей Католических Монархов — Дель Рейос Католикос (Изабеллы и Фердинанда; никого больше, кроме этой пары, так в Испании не называют) — площадь с фонтаном, где бронзовая Изабелла напутствует такого же Колумба. Улица Дель Рейос Католикос переходит в Новую площадь, а потом площадь Санта Аны с церковью Св. Анны. Под площадью Санта Аны таинственно исчезает река Дарро, заключённая в трубу, как будто в саму церковь втекает. Дарро хоть и *узок*, как *круг* наших *декабристов*, хоть и согласился влезть в трубу, но не приручён, и как любая горная река, может вздыбить набережную в половодье.

За церковью, на набережной Пазео де лос Тристос, стоял наш отель. Подниматься к нему надо было по узкой улочке, немилосердно вымощенной булыжниками. Мы поднялись по крутому подъёму с редкими, едва заметными ступеньками, пересчитывая их колесами сумок, и позвонили в глухую чёрную деревянную дверь.

Гостиница, Каса де Капитель Назари — особняк 16 века. Из приёмной попадаешь в большой зал во всю высоту здания. Я и не поняла сначала, что этот зал не зал, а двор, потому что над ним была натянута парусиновая крыша, которая ввечеру показалась мне толчком матового стекла. Пол его вымощен каменными плитами, а посредине его выложена тусклая мозаика из гальки двух сортов, изношенной подошвами. По периметру двора идёт двухэтажная аркада — круглые каменные колонны подпирают деревянную галерею второго этажа, с деревянными перилами и геранями в горшках. Рядом с большим двором есть ещё один дворик, и в нём журчит фонтанчик.

Мы поднялись со двора по лестнице на галерею, с которой вход во все комнаты. Наша была узкая, продолговатая, с высокими потолками; стены терракотового цвета, мебель странная — старинная, но грубая, на стене гобелен гобеленистого цвета, то есть почти полностью выцветший.

Потом я была в ещё одном таком особняке, ресторане Каса де Пилар. Главный внутренний двор был покрыт настоящей стеклянной крышей; стояли растения в кадках, удобные мягкие кресла. Помещение самого ресторана было накрыто только парусиной, не спасавшей от ужасной уличной холодицы. На ресторанных столиках горели маленькие свечечки. Мне понравилась закуска из анчоусов, но остальная еда напоминала самолётную.

А в первый вечер обедать мы отправились в ресторан Кармен, разрекламированный в нескольких путеводителях, Билл Клинтон там всегда питается, когда приезжает в Гранаду. Путь наш лежал

по Пазео де лос Тристос, мимо цыганского собора Сан Педро и Сан Пабло (название меня рассмешило, мне немного надо, чтобы посмеяться). “Тристос” мы не заметили, наверно “скорбящие” появляются только в экзаменационную сессию (набережная идёт вдоль Гранадского университета), а сейчас наоборот, всеобщее веселье, бары и кафе с уличными столиками заполнены публикой, снуют туда и сюда оживлённые люди, предвкушая закуску и выпивку. Никаких тротуаров, только проезжая часть, на ней вперемешку толпища, машины и микроавтобусы, от которых надо отступать в дверные проёмы. Внизу, в ущелье, побулькивает Дарро. А наверху, прямо над нами, если догадаться и задрать голову, увидишь, как в ночном небе, в лучах прожекторов нависла масса из красного камня — крепость Альгамбра.

Потом начался подъём по мощеным неудобными выпуклыми булыжниками улицам. Вдоль улиц тянулись не дома, а каменные стенки с нечастыми дверьми, и на каждой — “Кармен де что-то там такое”. Тыкались мы, тыкались, как слепые котята, в сосцы неправильных Кармен, и в результате опоздали в нашу столовую на первую смену. Оставался час до второй. Наши уверения, что часа нам хватит, были тщетны, и правильно — тем, кто может сожрать ужин за час, не место в хорошем ресторане. Хотите — оставайтесь на вторую смену, которая начинается в 10 вечера. Вообще-то можно было бы спокойно посидеть, выпить коктейль, посмотреть на великолепный вид Альгамбры, после 10 нажраться, как свинья, и лечь спать с полным брюхом — живём один раз, или по крайней мере в Гранаде в последний раз, и больше сюда — никогда, и будет только то, что ты сейчас увидишь, услышишь, поймёшь и съешь. Но мы пожалели свои желудки и обиженно уползли, потому что мы не умеем радоваться жизни и жить на полную катушку.

Ну, хотя бы во время этого краткого визита удалось понять, как устроена кармен. Зажигательное название не имеет отношения к цыганке или советскому вокально-инструментальному ансамблю: карменами называются типичные христианские дома 16 века, построенные после захвата Гранады. Один такой дом строился на месте трёх мусульманских — христиане меньше дорожили землей, не боялись, что Гранада расползётся за пределы крепостных стен, потому что врагов-мусульман вокруг не осталось.

Входишь в дверь в глухой стене, и попадаешь на дворик, окружённый строениями и стенками, а в нём какая-то зелень, то ли в горшках, то ли в земле. Из переднего дворика через проём во внутренней стене попадаешь на большую террасу — патио с видом на

Альгамбру и Сиерра Неваду. Вид потрясающий, как будто ты паришь над Гранадой. Ничем не заслонён: другие кармены или ниже по склону (можно сплюнуть им на дворик апельсиновую косточку), или выше (они на нас плюют). За террасой — основной дом, где раньше жили христиане, а теперь ресторан с главным залом, и при нём садик-огородик. Дворики-патио карменов это гостиные, о которой житель современного города может только мечтать: хоть сто человек принимай, и мебели не надо; вместо неё апельсиновые деревья, фонтан, а вместо обоев и картин — Сиерра Невада.

Что нас ждало ночью в гостинице, как все вокруг нас топали, орали и ездили на мотоциклах без глушителя — лучше и не вспоминать. Утром жуткий холод объяснил мне, что мы не в зале, а на дворе; сквозь парусиновую крышу сочился неяркий, рассеянный свет хмурого дня. Завтракали в отеле — всё было исключительно плохое и невкусное, а кофе ужасный. Прислуживал нам молодой человек, который поставил на стол блестящую трубу — что это? Ваза? Обогреватель для кофейника? Оказалось, что это мини-помойное ведро. На дворе, куда сходились курильщики, к нам подошли два шотландца. Я быстро ретировалась. Меня прогнал привычный страх — что я скажу этим людям, чем я смогу для них быть интересной? Лучше даже и не пытаться разговаривать, если это не обязательно. Мне знакомо отчаяние героя известного анекдота, который не знает о чём поговорить на вернисаже; я тоже иногда готова взорвать молчание неподходящим вопросом вроде “А вы ежа едали?” Каждый раз перед приходом гостей я в панике — а о чём я с ними буду говорить? Сдержанность напрасна. В беседах узнаёшь много интересного, и главное ведь от тебя ничего не требуется, никакого вклада, главное, отвори шлюзы чужого красноречия, сиди и слушай. Правильный подход в общении — не чем я интересна, а чем люди интересны мне? Интересны — разговариваю, не интересны — ухожу, как хозяйин жизни. Но такое здоровое отношение мне не по плечу, да и многим другим тоже.

Утепились и пошли осматривать город.

Наверно, у читателя есть вопрос — а как же называть жителей испанских городов, — и пора взять этого быка за рога. Предупреждаю, что нелепые на русский слух слова я буду употреблять всерьёз, а не в насмешку над испанским народом. Знай, читатель, что житель Гранады — не гранадец, не гранадин, и даже не гранатовая косточка, а гранадино. Ведь и мы не петербуржтинцы, а петербуржцы, и только попробуй выкинуть “ж” из этого славного имени.

Хотя Гранада — город древний, но попытки найти в центре римские колизеи напрасны; там всё свеженькое, 19 века и позднее, с редкими вкраплениями 15–16 века. Гранада и Гренобль первые города в Европе, которые установили электрическое освещение и ознаменовали это событие полной перестройкой. Что было в Гренобле, не знаю, наверно разрушили какие-нибудь клоповники кальвинистов, а в Гранаде для этого разгромили старые мавританские кварталы. Может быть это не так уж и плохо... Улочки-то были кривые и грязные, — не при мусульманах, у которых всегда всё было чисто, а при христианах, которые заразили захваченные ими мусульманские города привычкой выплескивать нечистоты на улицу. Главные разрушения пролегли на месте будущей Гран Виа де Колон, которую современники издевательски прозвали улицей Бураков, издеваясь над потугами “новых” испанцев, сколотивших капитал на сахарной свёкле, сделать в Гранаде “красиво”. Похоже, что Гран Виа пострадала и от последующей модернизации, потому что на ней мало осталось зданий 19 века, всё больше бетонные дома 20-го.

Наша прогулка началась с плазы Санта Ана. Главные приметы церкви Св. Анны это узкая высокая звонница, украшенная зигзагообразным рисунком из плиток, и высоченный портал в стиле барокко, над которым поставлены статуи святых, а ещё выше, под крышей, сделано два окна, и медальон между ними. Это бывшая мечеть с древним мавританским интерьером (кипарисовый потолок и прочие прелести), но я его не видела, церковь была закрыта. Эх жаль, что я просвистала мимо Санта Аны в поисках более лёгких развлечений и не попыталась вернуться к её открытию.

Плаза Санта Ана, незаметно переходящая в Плаза Нуэва — это большой бульвар. Вдоль бульвара много кафе и сувенирных магазинчиков, от него отходят улочки, на которых ещё больше сувенирных лавок и закусочных-тапасерий. Ещё в Гранаде много чайных, которые называются тетериями, но мы оказались такие тетери: смеялись над этим словом, не понимая, что желанный чай вот он, под рукой. Теперь утешаюсь тем, что чай непитый лучше выпитого. Наверняка в испанских тетериях чай дорогой и невкусный, как в чайных Вашингтона, или в чайной Балтийского вокзала в Петербурге — сто раз вываренный, и к нему из закусок имеется только бутерброд с крутым яйцом.

Мы быстро прошли две плазы, повернули на Виа де Колон и оказались у скверика, в котором было полно апельсиновых деревьев, рачительно ронявших плоды только внутрь ограды. У скверика перед собором испанские трудящиеся, побелённые и вызолочен-

ные, зарабатывали на кусок хлеба у туристов, застывая в изящных позах. Иногда они дёргались, и я пугалась. Пел и играл гитарист, первый и последний наш испанский гитарист — потом всё попадались артисты с гармошками. Собор, сложенный из крупных каменных блоков, естественно, стоит на месте великой мечети — где же ему ещё стоять? Его строительство началось после захвата Гранады, в первой четверти 16 века, но закончен он был на сто лет позже. Вдоль кромок крыш собора резные каменные балюстрады, над ними башенки и балконы с каменными щипцами, из которых для красоты торчат на все четыре стороны узорчатые толстые шипы: стиль “платереско”.

Приятно, когда можно просто называть стили, и все сразу понимают, о чём речь: “Барокко? Рококо? Да-да!” Но о стиле “платереско” я никогда не слышала, и для таких же, как я, должна объяснить, что это такое. Стиль это вычурный, увидев такое здание, удивишься и задумаешься, но его вычурность строгая, непохожая на вычурность барокко. Барокко — стиль пухлый, жизнерадостный, а платереско — жилистый и желчный.

В Википедии, на испанском, который я сгоряча поняла, стиль “платереско” (“ювелирный”), определён как смесь высокой готики, мудехарства (мудехары это мавры, остававшиеся в католической Испании), и элементов стиля Возрождения. В самом названии спрятался намёк на особое влияние мавританского ювелирного искусства. На стыке стилей получился затейливый гибрид, так же, как на границе природных зон вырастают самые причудливые растения. Для платереско характерны особые наличники и накладки на стенах, шпиги и бельведеры, членение фасада на три части в определённой пропорции и прочее, и прочее. К сожалению, все эти описания нисколько не помогают объяснить общее впечатление от платереско.

Лучше прибегнуть к “порочному методу аналогий”. В Испании, и только в Испании, соборы напоминают мне пляжные замки из песка. Большинство таких замков делается на скорую руку с помощью ведёрка — шлёп, шлёп, и вот вам здание романской архитектуры. Но некоторые строители, наделённые терпением и воображением, неторопливо пропускают сквозь кулак воду с песком, и она стекает тонкой струйкой, образуя изящные наслоения песчаных комочков в виде бугорчатых башен и башенок с узкими шпигами и парапетами в стиле платереско.

Примерами стиля платереско могут служить внутренний двор Сан Хуан де лос Рейос в Толедо, где мы уже были, здание Аюн-

таменто в Севилье, где мы ещё будем, и часовня с усыпальницей Изабеллы и Фердинанда, пристроенная к гранадскому собору. Завершено её строительство было через два года после смерти Фердинанда, который пережил свою королеву на десять лет.

В первый день мы зашли в часовню через большую дверь, обычно закрытую для туристов, прямо перед службой, и в полумраке увидели над собой толедское блюдо. Часовня — такая большая, что в неё поместится средняя церковь, была окантована мавританской филигранью. И массивные колонны, и сводчатый потолок с куполом были прочерчены по контуру узорчатой тесьмой с рисунком в виде нитей серого жемчуга в оправе из двух узких серебристых полос. В жемчужно-сером полумраке цвет как-то стушевался и всё казалось сделанным в манере “гризайль”. “Стиль “платереско” с элементами португальского “мануэлино”, — заботливо сообщил путеводитель. На эту часовню Изабелла и Фердинанд ухлопали четверть своего состояния. Ну и что? Лучше, чем потратить на какую-нибудь ерунду.

На следующий день наша часовня исчезла: её подменили другой. За ночь внесли надгробия, алтари, сделали мавританскую филигрань почти незаметной, и часовня из произведения искусства превратилась в кунсткамеру... Для любителей рациональных объяснений предлагаю сразу два. Или А: мы в действительности были не в часовне, а попали в придел, в который обычно не пускают. Это маловероятно, уж больно красивой была та, первая — такую таить от туристов не будут. Или Б: впечатление зависит от обстановки, и ярко освещённая лампами зала, набитая туристами, выглядит иначе, чем полупустая, в неярком естественном свете, проникающем через окна купола. Если это так, то все мы хронически недополучаем впечатлений от наших путешествий, из-за того, что оказываемся везде не в то время суток, и не в той компании.

Дверь была открыта уже другая, сбоку. Отстояли очередь, попали в холл, где была тематическая выставка на не запомнившуюся тему и громадная картина сдачи Гранады: Изабелла плачет от счастья — пала последняя мусульманская крепость. Плачет и султан Боабдил, сдавая ключи. Мать Боабдила Айша, которой на картине нет, не плакала, а сказала сыну: “Что ты плачешь, как женщина, о том, что ты не сумел удержать, как мужчина?” (Вроде мамыши из “Беглеца” Лермонтова; приходишь к ней супцу поест, а тебе вопрос с подковыркой: “*Ты умереть не мог со славой?*”) Не пойму я этого: не нравится, сделай сама...

Потом мы вошли в усыпальницу, и увидели парадные надгробия

Изабеллы, Фердинанда, их дочери Хуаны и её мужа Филиппа. Сами гробы находятся внизу, в подвале. Достойна восхищения решётка вокруг надгробий в стиле платереско, но я об этом не прочитала заранее и потому решётку не заметила (а может её унесли, услышав, что я приду), и увидела только колоссальные фигуры, лежащие на крышках саркофагов. Вокруг стояли в изумлении туристы.

Помещение огромное. В центре зала четыре высокие арки подпирают купол. Простенки между арками заняты лепными завитками в форме морских гребешков. В куполе сходятся к центру дуги, покрытые лепниной. В соборе есть один из лучших испанских алтарей эпохи возрождения, посвященный Иоанну Крестителю и Иоанну Евангелисту, — любимым святым Изабеллы Католической. На ретабле алтаря резные панели тёмного дерева иллюстрируют взятие Гранады. Перед алтарём стоят деревянные раскрашенные статуи Изабеллы и Фердинанда.

Как человек не католический и редко бывавший в северо-русских церквях 16 века, я к раскрашенной деревянной скульптуре непривычна, мне как-то даже неудобно лицезреть такие матрёшки, но лица Изабеллы и Фердинанда я разглядела с любопытством. Они на удивление похожи, может быть от долгих лет совместной жизни, от одушевления общей идеей. Лицо Изабеллы напоминает известный портрет Екатерины Арагонской, её дочери, злосчастной жены Генриха Восьмого. Про королеву писали, что была она невысокого роста, у неё были каштановые волосы, голубые глаза, смуглое овальное лицо. Не толстая — тогда ведь и короли не особенно хорошо питались, и жизнь их проходила в седле. И все отмечали то, что она была хорошим, порядочным человеком, ровного нрава, справедливая. Изабелла была личностью, как теперь выражаются, харизматической. Она ничего не боялась, могла въехать на коне в разъяренную толпу, и толпа стихала и преклоняла колени.

Эта незаурядная женщина первой из европейских монархов начала коллекционировать картины и собрала более 200 произведений кисти её современников — Боттичелли, Перуджино, Мемлинга. По распоряжению Изабеллы их выставляют в часовне в специальном помещении. Это только остатки былой живописной коллекции — после захвата Гранады французами в ней осталось всего тридцать картин. Наполеон следовал рекомендациям Макиавелли — не церемониться с имуществом захваченных народов; всё берём: полотна, статуи, обелиски, *пригодится и верёвочка*.

Изабелла занимает в испанской истории особое место — её любят, ею восхищаются, и часовня прежде всего памятник Изабелле,

и только потом — Фердинанду. Страстные поклонники Изабеллы утверждают, что на надгробии у неё череп больше, чем у Фердинанда, потому что она была умнее. Фердинанд был, по представлениям современников, искусным правителем, и упомянут в “Принце” в качестве положительного примера, но подвиги, за которые его хвалит Макиавелли, Фердинанд совершил вместе с Изабеллой, и его непосредственный вклад в усмирение иберийских грандов и реконкисту можно оценить только путём беспристрастного изучения исторических документов. Напомню, что со своим собственным захолустным королевством Фердинанд никогда ничего не мог поделаться. Арагонцы держали его в жёстких рамках. Кроме того, роль Фердинанда была ограничена юридически — только Изабелла была королевой Кастилии, главного королевства Иберии, наиболее активного в наведении порядка и реконкисте. Может быть, Фердинанд был наставником Изабеллы в политике, может быть и нет. Не стоит автоматически преувеличивать его роль, как обычно преувеличивают роль мужчины в любом плодотворном союзе, но не стоит и преуменьшать. Политически Фердинанд был нужен Изабелле как муж, наличие которого ограждало её от сплетен, от посягательств на её трон и руку. Несомненно, он был её лучшим другом и единомышленником. Судя по сохранившимся письмам, Изабелла и Фердинанд любили друг друга. Они оба были друг другу необходимы. Каковы бы не были сравнительные роли этих монархов, без союза Изабеллы и Фердинанда не было бы современной Испании.

Удивительные это были люди, “католические монархи”, — хорошие, умные, порядочные, любящие друг друга и своих детей. Что может быть счастливее и лучше, чем их жизнь, жизнь серьёзная, строгая, озарённая любовью, посвящённая идее? Эта идея, прекрасная с точки зрения католицизма — идея “этнической чистки”, массового изгнания из Испании евреев и мусульман, — осуществлялась с фанатическим жаром, достойным нынешних мусульман, с незыблемой уверенностью в том, что истребление инородцев хорошо, справедливо, благородно. При взятии Гранады, во имя торжества идеи христианства, спокойно свершились обман мавров (который наверно не казался обманом, ибо человеческое на втором месте, а Божье на первом), сожжение арабских манускриптов, сохранявших столетиями крупицы древней греко-римской цивилизации. Вот сюжет для интереснейшей книги.

Рядом с саркофагом Изабеллы находится надгробие её дочери Хуаны. В историю эта испанская королева вошла в романтическом ореоле. Считается, что она помешалась после смерти любимого му-

жа. Об этом пишут книги, снимают фильмы. Королевы всегда кажутся интереснее королей. Их с жаром осуждают, оправдывают, и ломают по их поводу столько стульев, что и не снилось никакому Александру Македонскому. Особенно всех волнует любовная жизнь королей, им приписывают роковые суперстрасти или выставляют развратницами. Утончённая и образованная Мария Стюарт, хитрая интриганка, талантливая поэтесса, предстаёт в романе Цвейга безмозглой “рабой любви”. Екатерину Вторую, у которой любовников за всю жизнь наберётся меньше, чем у любой нынешней студентки колледжа за год, упорно представляют эдакой Мессалиной, не обращающей внимания на то, что большую часть жизни эта умная и талантливая женщина занималась государственными делами, писала неплохую прозу, и ей просто некогда было устраивать оргии.

Ещё одна ипостась — “святая женщина”. Конкурс на эту должность суровый, его не удалось пройти даже Елизавете I Английской, которой до сих пор неумело стараются приладить любовников, но уж если конкурс пройден, то восторгам публики нет конца. Святой женщине обеспечено невероятное поклонение. Изабелле Кастильской повезло — она попала в эту категорию, и всё пошло, как по маслу. Изабеллу, которая обобрала страну до нитки, воюя с крошечным государством, не представлявшим для Испании никакой угрозы, ввела инквизицию, провела одну из крупнейших в истории этнических чисток, поминают добрым словом. Хуану — которая попыталась дать передышку истерзанной стране и заплатила за это 40 годами жизни в заключении, называют “Ла Лока”, безумная.

По уму и талантам Хуана ни в чём не уступала матери и была на неё похожа внешне. Но поскольку молодость Хуаны прошла в Нидерландах, у неё были значительно более гуманные и просвещённые взгляды. Главным преступлением Хуаны явилась попытка отменить в Испании инквизицию. После этого муж королевы скоропостижно скончался, выпив стакан воды, а у королевы нашли “вялотекущую шизофрению”. Все, кто имел случай с ней общаться, подтверждали, что она совершенно нормальна, только вот таких свидетельств было мало — её держали в заточении до самой смерти. За Хуану в это время царствовал её сын Карл, который вошёл в историю как один из самых задиристых императоров Священной Римской империи. Человеку с современным взглядом на жизнь его воцарение представляется катастрофой для Испании. Своей страной он не интересовался и выкачивал из неё деньги для своих безумных непрерывных войн. Когда воевать больше не стало сил, Карл передал престол своему сыну Филиппу, потому что кроме войн его ниче-

го не колыхало. Если бы Хуана осталась на троне, Испания скорее всего не потратила колониальные денежки на религиозные войны.

Хуана была незащищена — у неё не было мужа и не было железной воли Изабеллы или дипломатических способностей Елизаветы Английской. Но даже при таких обстоятельствах она бы продержалась, если бы продолжала консервативную политику своей матери. Женщина всегда найдёт поддержку, если она придерживается патриархальных взглядов. Вспомним, каким восторгом и восхищением была окружена Маргарет Тэтчер. Вспомним, с каким раздражением говорили о Хилери Клинтон: “Нет, не нравится мне её апломб, как будто она знает ответы на все вопросы!” Тэтчер говорит с ещё большим напором, чем Хилери, но её ответы больше устраивают общество. Народ консервативен и всегда предпочтёт политику, которая идёт ему во вред. Если его уж слишком сильно прижать, начнется бунт, *“бессмысленный и беспощадный”*, но поддержать реформатора, пытающегося исправить ситуацию мирным путём, народ не может и не хочет. Он скорее поддержит Сталина, чем Александра Второго. Народ любил Изабеллу и презирал Хуану.

К своему несчастью Хуана пыталась ослабить влияние католической церкви и смягчить аскетизм, злобу и нетерпимость своих современников, и её не простил за это никто — ни священники, ни испанский народ, ни собственный сын.

Зато при Изабелле нравы были прямые и нелिцеприятные, людям говорили в лицо всё, что о них думают. Отца Терезы Авильской, крещёного еврея, публично позорили в Толедо за недостаточно строгое соблюдение христианских обрядов, водя по улицам в покаянной одежде с издевательской надписью (вероятно, что-то вроде: “Я, сукин сын, меняю бельё по пятницам”), но всё же не убили, не запытали, и в награду получили самую знаменитую свою святую.

Мне непонятно, как можно преследовать человека за то, что он не ест свинины, или (по твоему мнению) недостаточно искренне поверил в то, во что веришь ты, но многим кажется нормальным и даже необходимым водить людей на верёвке, как водили, пусть в переносном смысле, мою семью после революции, а вместе с нею четверть населения России, шельмуя, не пуская в институты и университеты, отправляя каждого пятого в лагеря просто за “соцпроисхождение” — бельё дескать меняют по пятницам, а не по субботам. Но я чувствую, что сейчас меня попросят вернуться к теме Испании. Мои взгляды немодны, и многие с ними не согласны.

Не обязательно быть гранадино, чтобы прочувствовать Гранаду, не обязательно в ней родиться, но в любом городе, чтобы понять его

душу, надо пожить, или по крайней мере ощутить его через людей, которые в нём жили. Притягательная сила старых городов в том, что они живут долго, много дольше нас, и представляют собой много большее, чем упорядоченные груды камней. Ходишь по улицам и обязательно думаешь о прежних жителях, думаешь не по своей воле, а потому что их мечты и замыслы впитались в ими построенные и обжитые старинные здания. Многие безымянны, других мы знаем, помним, особенно в родном городе — невозможно, пройдя по Невскому, не представить себе сонмы реальных людей и вымышленных героев, имена которых мы слышали с детства. В доме на углу Гороховой и Малой Морской жил и выпил злосчастный стакан сырой воды Чайковский (да и Гоголь может вдруг примерещиться), на Мойке 12 *писал и читал без лампы* Пушкин, к которому призывали относиться, как к родному (не про нас ли — *“Родные люди вот какие...”*?). Кто пообразованнее, кивнёт при встрече дому Державина; люди “с корнями”, попав на Пески, вспомнят свою ныне покойную тётю Глашу. В этом безмолвном диалоге с теньями мы чувствуем себя в городе своими.

И чужой город делается близким, если найдутся в нём знакомые — музыка де Фальи объяснит нам сады Гранады и Кадис, так же как Кадис и сады Гранады объяснят музыку де Фальи. И не только де Фальи, в Гранаде мы вспомним Гарсию Лорку. Здесь ступала нога Изабеллы, или если не нога, то хотя бы копыто её коня. Все они, поэты, музыканты, короли и кони, оставили в Гранаде след, материальный и духовный. Имея это в виду, пытаюсь отыскать ключ к душе испанца-гранадино, понимая полную невозможность это сделать за два-три дня, и все-таки стараясь, бродишь по Гранаде, переходя на каждом шагу от эпохи к эпохе.

Неподалёку от собора находится главная площадь Гранады с мавританским названием Виварамбла, или Биб-Рамбла: произносите, как угодно — испанцам всё равно. (Помню, в американском магазине меня записывали в очередь на дефицитную индейку: “Карпоба”. “Нет, — возражала я, — Карпова; «В» как «Виктор!»” “Я и записываю «Биктор!»”, — отвечала бенесуэлка).

Площадь Вив-Рамбла мне вспоминается цветная, в гамме розового, рыжего, коричневого; цвет не резкий, не бьющий в глаза, потому что пасмурно. Везде белые голуби и белые бумажки, раскиданные испанцами. Дома именно такие, каких ждёшь от южного города — с башенками, с балкончиками. Посредине фонтан — большая чаша, которую поддерживают неопределённые существа, по виду пожилые гермафродиты с излишним отложением жира вокруг талии;

вода у них течёт из рта через трубочку, как это часто случается у фонтанных фигур. Газоны сквера огорожены низенькой решёткой. Люди, одетые в джинсы и футболки, сидят за столиками кафе вдоль домов.

Если бы я снимала фильм, в этот момент цветные съёмки современной площади вдруг сменились бы старинной литографией 19 века, где Вив-Рамбла заполнена толпами в народных костюмах, и за кадром зазвучал бы голос диктора: “Такою видел Вив-Рамблу Вашингтон Ирвинг, проживший в Гранаде с 1815 по 1832 год, и написавший немало очерков об Испании, Гранаде и Альгамбре”. Вив-Рамбла тогда была местом для народных гуляний и променадов городской публики. Во время праздников по её периметру воздвигали временные аркады для церковных процессий и украшали их изображениями сцен Реконкисты.

Ирвинг рассказывает, как в праздник тела Христова площадь наполнялась публикой до отказа; из окрестных горных деревень спускались в Гранаду крестьянские семьи, усаживались посреди Вив-Рамблы, где теперь газоны с бумажками, закусывали, смеялись, гомонили, плясали под стук кастаньет, смотрели на горожан, прогуливавшихся под аркадами в лучших костюмах, потом спали прямо на площади. Наутро в торжественном молчании толпы, такой шумной накануне, а теперь притихшей в напряженном внимании, по Вив-Рамбле и по улицам вдоль домов с балконами, завешенными коврами, делегации окрестных деревень, монастырей и церквей проносили кресты, хоругви, статуи почитаемых святых и Богородицы.

Другой праздник — день взятия Гранады. С утра до вечера звонили колокола, по улицам шли процессии со старинным оружием и знамёнами, перед гробницей Католических королей раскладывали их походный алтарь и служили торжественную мессу. В местном театре при стечении народа давали пьесу о том, как дон Эрнандо Дель Пульхара ночью прокрался в осаждённую Гранаду и прибил к дверям мечети доску с надписью “Аве, Мария!” (Эрнандо — реальная личность, он действительно прибил доску к плохо охраняемой мечети, и его потомок, буде такой найдётся, имеет право въезжать в гранадский собор на лошади. Только надо не забыть полиэтиленовый пакет и совочек.)

Наутро гранадский мавр Тарфе возил эту доску на хвосте коня, дразня христиан, но герой Гарсиласа де ла Веха вступил в бой с Тарфе, доску отобрал и поднял её в знак победы на копье. Гранадино принимали пьесу близко к сердцу и даже пытались вылезти

на сцену и помочь своим, когда Тарфе срывал доску с дверей мечети. (Благодарные зрители есть не только в Испании. Помнится, актриса ленинградского ТЮЗа жаловалась, что невозможно играть ведьму — дети её щиплют, когда она пробирается по проходу.)

На площади Вив-Рамбла тоже шло действо: устраивалась битва в старинных доспехах между маврами и христианами, участники которой быстро забывали, что дерутся понарошку. После битвы мавров таскали в цепях по всему городу, и народ плакал от умиления. Когда-то в этом празднике и процессиях должны были принимать участие и настоящие мавры, — до того, как их изгнали из Испании. Праздники эти, и Взятие Гранады, и Тело Господне (Корпус Кристи), до сих пор проходят в Гранаде. Шествия Корпус Кристи теперь длятся целую неделю. Но не знаю, даются ли теперь представления о подвиге Эрнандо Дель Пульхара, и быют ли артистов, которым приходится изображать мавров.

С Вив-Рамблы можно пройти на Шёлковый базар (Алькасерия). Подлинная Алькасерия существовала в Гранаде с арабских времён до пожара 1850 года. Продавали на ней шелка и ювелирные изделия, наряды из парчи, чадры из тонкого полупрозрачного шёлка и красивые тувельки. Как и все древние рынки, Алькасерия была окружена крепостными стенами и воротами, запиравшимися на ночь. Когда рынок был заново отстроен после пожара, ворота сняли, стены остались, и торговые ряды сейчас похожи на прежние, насколько это возможно: между лавками узкие проходы, фасады выложены плитками с восточным узором. Продают в Алькасерии всякую муру для туристов, как то: инкрустированные шкатулки; туфли и платья, украшенные блёстками; странные какие-то ковры, видимо из шёлка; пёстрые шали, бусы, подсвечники — в общем то, что, если и купил, то, одумавшись, не наденешь, не повесишь, не постелешь и не поставишь в своём доме.

Неподалёку стоит Каса Дель Карбон, караван-сарай 14 века, времён торговли шёлком. После Реконкисты вся торговля накрылась, и христиане по примеру коммунистов переоборудовали караван-сарай в склад угля, о чём свидетельствует его нынешнее название. Ничего интересного архитектурно — квадратное здание с глухими стенами наружу; в нём внутренний двор с двухэтажной галереей, всё, как во многих мусульманских особняках. Интересно в нём только то, что это подлинный сохранившийся караван-сарай. А вот у нас в Петербурге караван-сараев нет, и если захочешь погордиться славным купеческим прошлым, можно только придти и постоять у бывшего ресторана Палкина.

В Гранаде сохранились и превращены в музей мусульманские бани. О них я знаю понаслышке, не успела их провести. В восточных банях окон не было, только в потолках отверстия для вывода пара. К примеру, в бане Альгамбры были дырки в виде звёзд, с рубиновыми стёклами — читала, но не видела, не заходила, а если бы и зашла, то всё равно без толку — стёкла уже давно повыбили. В баню входили в специальных банных башмаках. Утром и вечером мылись мужчины, а днём — женщины. Наступление на морисков было ознаменовано закрытием бань — христиане мыться ух как не любили, считая мытье утончённым развратом. Крепость Аламу христиане сожгли дотла, а жителей перебили за то, что рядом с ней обнаружили купальни в горячих источниках, где мусульмане (стыдно сказать!) мылись! Уж конечно этот змеюшник, эту современную Гоморру надо было испепелить. Даже в 20 веке переводчице Ю. А. Добровольской, которую занесло в республиканскую интербригаду, местные жители сделали замечание — порядочная женщина не должна так часто мыться. И не одни испанцы такие. В американской газете “Сент-Луис Пост-Диспатч” напечатано: “Бани у нас были, но закрылись в связи с эпидемией СПИДа”. Прочитала и затряслась — как же это я выжила, ведь меня в детстве столько раз водили в баню. Я вот думаю, может Европа-то нас презирает из-за наших русских бань? Может, в этом настоящая причина нашего неуспеха в европейском содружестве?

Гранада известна цыганами и цыганскими танцами фламенко. В 30-е годы Лорка и Де Фалья устроили в Альгамбре двухдневный фестиваль цыганской песни, пригласив самых знаменитых исполнителей. На второй день хлынул дождь, но так всем было хорошо и интересно, что никто не ушёл, — продолжали слушать, накрывшись стульями. Цыганский квартал Сакрамонте существует в Гранаде до сих пор; во времена Боткина он славился крутейшей экзотикой: *“Гора, кажется, насквозь прожжённая солнцем, жёлтая, голая, цвета африканской пустыни; на ней нет ни деревьев, ни травы, а одни только уродливые, огромные кусты кактусов, которыми обсажены её уступы... В несколько ярусов по горе проделаны пещеры: здесь живут цыгане. Вход в каждую пещеру завешен какою-нибудь грязной тканью; у него обыкновенно валяются нагие курчавые дети с большими, огненными, чёрными глазами и тёмно-жёлтой кожей”*. Теперь в пещерах магазины и рестораны, цыгане живут в квартирах, а их дети, может быть уже и не совсем тёмно-жёлтые, ходят в школу.

Гранадский “табор” чуть ли не самый большой в Европе. Эти

цыгане занимаются всем тем же, что и не обрусевшие цыгане в России — гадают, воруют и укрывают краденое. Цыган я не люблю, особенно после того, как они ворвались к маме в квартиру, совсем её заморочили и исчезли с 40 рублями. Если в России цыганки тонкие, как спички, (или как испанки), то в Гранаде цыганки толстые и гладкие, и сзади их можно принять за американок. А спереди они такие назойливые, что всё сразу понятно. Суют пучки какой-то сушовой травы и требуют позолотить ручку. Одна из них сумела-таки всучить мне розмарин, и я решила с ним удрать в отместку цыганскому племени, но она погналась за мной и раздраженно вырвала букетик у меня из рук.

Старые кварталы Гранады назывались по имени беженцев из городов, разгромленных христианами. Беженцы из Антекеры заселили квартал Антекеруэла — маленькая Антекера. Альбайсин (Аль-Баэзин) был заселён беженцами из Баэзы (город, оккупированный Фердинандом Арагонским в 1227 году). После захвата Гранады в Альбайсине дольше всего сохранялось мусульманское население. Удивительные и забавные вещи рассказывали современники взятия Гранады об обитателях этого квартала. О женщинах писали, что все они ходят в парусиновых матросских штанах и умеют танцевать на канате. Рассказывали о ежемесячных повальных обысках в Альбайсине, во время которых у мусульман отнимали ножи — видимо, запас ножей был неистощим.

В Альбайсине жили ремесленники, настоящего спроса на их изделия уже не было, нищета была жуткая, христиане приставали с требованием есть свинину, и Альбайсин стал эпицентром двух крупнейших восстаний морисков, после чего мавров и морисков выперли из Альбайсина и Испании, и мы теперь можем спокойно бродить по этому кварталу и, ничего не опасаясь, есть свинину в его ресторанах, переделанных из мусульманских избёнок.

По Альбайсину стоит пройти пешком, хотя его мостовые немилосердны к каблукам. Весь Альбайсин поднимается круто вверх, и застроен старыми одноэтажными домами с просторными дворами. На улицу выходят только белые стенки с дверьми. В этом квартале есть несколько церквей и монастырь Санта Исабель Ла Реал. Наиболее знаменита церковь Св. Николая, выбеленная, с травой на черепице. Поразмыслив, отнесёшь её к романскому стилю, но в первый момент в её архитектуре видится испанская экзотика — несколько ярусов крыш, к центральному зданию пристройки пониже, а к ним ещё ниже. Рядом с церковью Св. Николая находится совершенно новая мечеть — европейский Центр мусульманско-

христианской интеграции, такой вот оксюморон. Не зашли, а зря — можно было бы взять буклеты об истории мусульманства в Европе.

Зато мы зашли внутрь собора. Служба шла на испанском, но я шестым чувством поняла, что речь идет о Петре, и заплакала. Я не могу без слёз слушать его историю, историю о том, что прощение за предательство вымаливают всей жизнью. Эта история и утешает, и отнимает надежду, потому что кто из нас готов искупить свои поступки такой ценой?

К церкви Св. Николая туристы ходят из-за смотровой площадки — на одной стороне ущелья Дарро церковь Св. Николая, а на другой — Альгамбра. Народу была куча. Площадка была вся в бутылках и бутылках, на парапете парочки, на скамейках весёлые компании, вид у людей в основном хиповый. Были и испанцы средних лет, небритые мужики со скверным музыкальным слухом, которые в своей компании плохо пели и плохо плясали народный танец. Смешанное чувство, как локтем по притолоке, оставляет толстый пятидесятилетний дядя, который со звериной серьезностью топает ногой и гордо поводит выей (шеей).

С площадки видны были красные башни Альгамбры и Сиерра-Невада. Хорошо жить в кармене, как в кармане, выходить утром на двор: зимой, когда его запорошило мелкой снежной крупкой, или весной, когда по дворику раскатились апельсины; между тобой и Сиерра-Невадой только одна преграда: Альгамбра.

Как чувствует себя человек, каким вырастает, если из окна или с террасы ежедневно видит Сиерра-Неваду? Вырабатывается ли особый склад характера, отличный от характера болотных жителей Петербурга? Становится ли красота привычной? Лорка к Сиерра-Неваде не привык, иначе не сказал бы, что жить в Гранаде нельзя — слишком красивый вид из окна. Но красота Гранады и Альгамбры была для Лорки родной. Лорка с друзьями собирались в Альгамбрской таверне, чтобы послушать песни цыган, фотографировались в мусульманском дворце Назаридов — призраке погибшей культуры, которая для гранадино и чуждая, и своя. В 1936 году, во время гражданской войны франкисты засели в Альгамбре, республиканцы — в Альбайсине. Альгамбра обстреливала Альбайсин, пока он в очередной раз не сдался. Через несколько дней Федерико Гарсия Лорка, испанский Пушкин, 38 лет отроду, был расстрелян неподатливо, в деревушке Виснар. Фашисты расстреляли его без суда, без следствия, без обвинения; как у нас говаривали о таких смертях: “пустили в расход”, “отвели в сторонку и шлёпнули”. Хунта всегда открещивалась от этого убийства: мол, непонятно, кто отдал приказ,

непонятно кто потом долгие годы запрещал печатать стихи Лорки. И вообще, лес рубят — щепки летят. Друг Лорки Сальватор Дали сказал, узнав о его смерти, что-то вроде: “Восхищаюсь. Вот так и должна поступать революция — р-раз, и в яблочко!” (Мне в картинах Дали всегда чувствовалось что-то подлое, и теперь я понимаю, почему.)

Накануне ареста Лорка мог бы ещё уйти к республиканцам, но побоялся остаться в одиночестве, без родных. Почему же он не ушёл, почему он был такой слабый, нерешительный, годный только на стихи? И когда часовой сказал ему, что на рассвете их расстреляют — ну почему он не попытался бежать, почему не попытался хотя бы вырвать винтовку у часового, почему он только закурил папиросу и спросил: “За что?” И каким мужеством надо было обладать, чтобы после расстрела приподняться и сказать: “Добейте...”

Его возлюбленный Рафаэль Родригес Рапун, бесконечно любимый, который для Лорки был самой жизнью, погиб через год. Так оборвалась, утонула в общем хаосе их любовная история. Остались только стихи о ней, ставшие классикой испанской поэзии. Кому есть дело до нас, до нашей любви? Из космоса, из бесконечно удалённой точки, наши страдания так малы. Участником ли быть, или созерцателем, но ты всегда щепка, уносимая течением. Любовь сильнее смерти только в произведении Максима Горького. В реальности смерть и обстоятельства вырывают с корнем хрупкое растение любви, крошат его заступом и с торжеством говорят тебе: “Накося, выкуси!” Чёрная Маруся владеет телом твоего возлюбленного, товарный поезд увёз его в неизвестном направлении, на руках у тебя только клочок бумаги: “Десять лет без права переписки”.

После победы фалангистов Де Фалья в своём маленьком беленьком домике каждую ночь слышал, как расстреливают республиканцев прямо у стен Альгамбры. Он убежал далеко-далеко, в Латинскую Америку. И туда же уехала семья Лорки. Хорошо, что не нужно было учить новый язык.

В Гранаде мы пробыли два дня. Куда бы я пошла в Гранаде, если бы у меня был ещё один день? Хм, я провела бы время с толком. Вечером я пообедала бы в кармене. На следующий день я пошла бы к остаткам крепостных стен Альбайсина, осмотрела бы монастырь Изабеллы де Реал, он же дворец Айши, побывала бы в церквях Св. Иеронима и Св. Анны. Я пошла бы в королевскую больницу для бедняков, построенную в 16 веке на развалинах старой гранадской крепости Алькасаба дель Кадима и рассматривала там картины знаменитых испанских художников. Зашла бы я и в

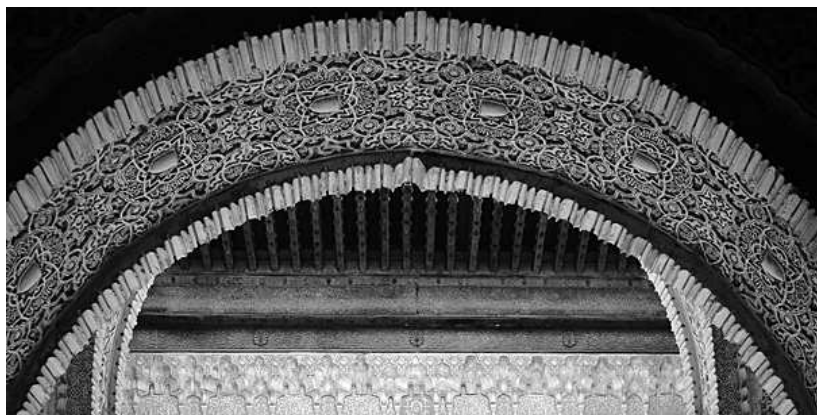
Каза де Лос Тирос, христианскую резиденцию 16 века, поглазеть на изделия арабских ремесленников. Я пошла бы в мавританские бани 11 века, ставшие музеем, и узнала бы, были ли там шайки? Выдавали ли там номерки за одежду? Несмотря на внезапно наступившую жару, я добралась бы пешком до еврейского квартала Реалехо, в котором находится монастырь Кармелит Кармен де лос Мартирес с садами, объявленными национальным памятником Испании. Всего этого я не увидела, потому что не хватило дня. Но перед отъездом я увидела удивительный монастырь.

В пригороде Гранады на территории университета находится картезианский монастырь “Ла Картуха” (18 век), собор которого называют христианской Альгамброй. Мы поехали туда в последний день пребывания в Гранаде, перед отъездом. Ехали на автобусе, считая остановки и сличаясь с картой, но под конец нам ещё помогла полная пожилая испанка, высадила там, где надо. Автобус подъезжает к картезианскому монастырю, сделав зигзаг по всей университетской территории, выставляющей напоказ противные факультетские здания. Напоминают мне оне шестидесятые годы, хрущёвское рококо в петергофском филиале СПбГУ: низкие потолки, бетонные панельки, дыхание дешёвки. Никаких вокруг газонов, только пустыри с бурьяном, со вкраплениями маков и васильков.

Заглядываешь в арку в высокой стене монастыря и видишь картину другого времени, длинный двор, в конце которого фасад собора. Заходишь, и исчезает неприглядная современность. Идёшь по большому двору, выложенному красивыми узорами из мелких камешков: звери и завитки из крупной гальки плашмя, а фон между ними из мелкой гальки ребром. Мох пробивается между старыми камнями стен и большой основательной лестницы, ведущей к portalу собора. Во внутреннем монастырском двореке меня охватило ощущение глубокого покоя и примирения с жизнью. Сам собор и его придел украшены великолепной лепкой и резьбой по камню в стиле барокко. Такую удивительную работу по камню, такой подбор цветов я видела только у резчиков уральских заводов. Это было моё последнее впечатление от Гранады. Было потом ещё что-то: еда, скомканная вторичная поездка по Альбайсину, — были, но пропали, провалились в трещины памяти. А монастырь остался.







“Аламбра”

Альгамбра, “Красная крепость”, плывёт над Гранадой, как волшебный остров, то на фоне заснеженных гор, то на фоне чёрного ночного неба. Отовсюду видны её зубчатые стены, массивные башни, в которых только кое-где, на большой высоте, чтобы не добросить и не добраться, прорублены окна. Альгамбра — сердце Гранады, *“Аламбра: город воды, владение Аллаха, врата рая”* — порождена той же культурой, которая создала мечети Самарканда и Бухары.

Крепость, сложенная из кирпичей, плоских, вроде древнерусской плинфы, выросла на руинах арабской цитадели, построенной на остатках вестготских укреплений, которым предшествовал римский форт. Что же ещё посыплется, если копнуть поглубже? Основатель Альгамбры Мохаммед Ибн Аль Амар позаботился об акведуке, сделал подземные цистерны для воды на случай осады христианами, заложил султанский дворец, который потом двенадцать султанов двести пятьдесят лет подряд украшали и достраивали. Когда крепость с дворцом попали в руки католических королей, те первым делом по-хозяйски закрасили мусульманские росписи на стенах; их внучок Карл Пятый пытался обустроить Альгамбру по своему вкусу, но с таким же успехом, как мы Россию; плюнул, уехал, и крепость долго была бесхозной. Французские и английские войска оккупировали Альгамбру во время наполеоновских войн, не очень-то забо-

тятся о её сохранности. Время шло, дворец разрушался, в нём поселились бандиты и цыгане, а когда их выгнали, прижилась публика попрличнее. Между тем живописные руины посещали и воспевали Теофиль Готье, Вашингтон Ирвинг, Боткин и другие известные люди, создавая о них легенду-сказку. Наконец и испанцы ими заинтересовались, дворец был взят под охрану государства и превращён в музей. На Альгамбру стал изливаться бурный поток туристов. То, что осталось после веков небрежения и постоя оккупантов, реставрировано минимально, в основном законсервировано, и каждый посетитель может дать вольнейшую волю воображению, мысленно дополняя недостающее.

В Альгамбру можно дойти пешком по тенистой дороге, обсаженной вязами и каштанами, присланными в подарок герцогом Веллингтоном, может от стыда, что его войска насвинячили в Альгамбре, может в благодарность за великолепное королевское имение в предгорьях Гранады, дарованное ему за освобождение Испании от французов. Все хотели сделать друг другу приятное, и скала Альгамбры, которая должна была быть по законам военного искусства голой, превратилась в красивый парк из вязов и каштанов. Нынче мало кто согласен пройтись и насладиться этим парком, потому что всем дорого время, и большинство предпочитает приехать на маленьком автобусике от Плаза Нуэва.

Наш автобус вела дружелюбная блондинка, не расставаясь при этом с сигаретой (блондинок в Испании много, но все среднего возраста, а молодые женщины — брюнетки). Пассажиры были её гостями, а пешеходы друзьями, она всё время притормаживала: то со знакомыми словом перекинется, то уговаривает пеших туристов не валять дурака и влезть в автобус, ноги ведь не казённые. Ехать с ней было сплошное удовольствие; полная радости жизни, эта женщина показывала своим примером, что можно достичь счастья в повседневности.

По недомыслию мы вошли в Альгамбру с самого дальнего конца и долго бежали по аллеям мимо садилов и раскопок, но если зайти в музей через главный вход, через ворота Справедливости, украшенные замковым камнем с пятернёй, символизирующей пять обрядов ислама, сразу окажешься в центральной точке, на большой площади с подземными цистернами для воды. Пойдёшь направо, напорешься на дворец Карла Пятого, такой же красивый и уместный, как кремлёвский дворец съездов. Пойдёшь налево, мимо стойки с сосисками, попадёшь в крепость Алькасаба, старейшее сооружение Альгамбры. Пойдёшь прямо, попадёшь во дворец Назаридов — главную

достопримечательность Альгамбры.

Во дворец Карла мы не зашли — не хотелось эпохой Возрождения портить впечатление от мусульманской Альгамбры. Вдобавок дворец заслужил всеобщую обструкцию тем, что ради него развалили часть дворца Назаридов. Самый страшный вред Альгамбре нанесли перестройки Карла Пятого и наполеоновы взрывы — разрушения времени были менее безжалостны. Откуда только берутся эти не очень приятные и не очень умные люди, которые могут разломать дворец Назаридов, построить собор в центре кордовской мечети, дворец съездов в Кремле, или большой стеклянный параллелепипед на Сенной площади, считая его адекватной компенсацией за взорванный растреллиев собор?

От Алькасабы восьмого века осталась только шкура укрепления, а внутри всё развалено, и любопытствующим предстоит длинная монотонная прогулка по крепостной стене, среди кучи туристов, с поглядом вниз, в брюхо крепости, где теперь только обозначены невысокими стенками многочисленные строения (казармы, баня); при арабах всё так было застроено, что негде шагу ступить; планировка, как в лабиринте, комнаты в виде узких длинных прямоугольников — в восточном жилище чем меньше света, тем лучше. Пыльно.

После крепости я совсем сварилась от жары, и мы отдохнули в кофейне отеля Парадор, построенного на территории Альгамбры. Там меня обсчитали, ненамного и нестрашно, но обидно. Помню неистовую злость, но почему-то не на себя, а на окружающий мир.

Но и Алькасаба, и дворец Карла Пятого в Альгамбре, всё это только прелюдия ко дворцу Назаридов. Попробую замедлить темп, углубиться в подробности, передать чувство посетителя, который давно мечтал об Альгамбре, заказал билет за месяц по интернету, выстоял длинную очередь у кассы, чтобы его получить, и уж теперь не простит Альгамбре, если она обманет подогретые трудностями ожидания. Что же он увидит? Он увидит совсем не то, к чему привык во дворцах Центральной Европы.

Общее впечатление от дворца: сеть большей частью одноэтажных павильонов с прямоугольными внутренними дворами. Крыши желобчатые, из потемневших черепичин с гнутыми спинками. Наружные стены негладкие, неровно сложенные, на них как-то неожиданно, вдруг, — карниз, барельеф, наличник окна, но без окна, арка, но без проёма — зачем, почему? То ли остатки разобранной структуры, то ли страстно захотелось украсить глухую стенку, и кстати вспомнилось, что бывают же всякие дуги и выступы.

Нет в этой архитектуре европейской логики. В нагромождении прямоугольных зданий со внутренними дворами, обращённых к миру голыми стенами, прячущих внутри от постороннего глаза временное и переносное убранство, воплощена мусульманская идея жилья. Архитектурного плана, симметрии, к которой мы привыкли, в нём нет. Чем больше дворец, тем больше зданий и дворов — одно пристраивается к другому, строение разрастается, как грибница. Путаница комнат. Внутренние просторные дворы, служащие приёмными залами, опоясаны аркадами. Во дворах устроены садики — с деревьями в грунте и в горшках, с цветами, стриженными кустами; в противоположность хаотичной архитектуре всё живое упорядочено, подвластно человеку.

Для гранадского стиля, зародившегося на Ближнем Востоке, характерны лёгкие несущие конструкции (балки крыши и потолка), замаскированные объёмной штукатуркой, покрытой глубокой резьбой, поздраватой, как сыр на изломе. Чудо, что эти непрочные дворцы сохранились до наших дней, тем более что их долговечность не предусматривалась строителями. На Востоке навечно строят только мечеть и школу. Дворцы бывших кочевников временны, как палатка бедуина. Они умирают вместе со своим хозяином; новый султан сканяет их с землёй, построит другой дворец на новом месте.

В Альгамбре обошлись по-иному, потому что переезжать было некуда. Пришлось достраивать, доделывать, доукрашать то, что есть. Но дворец, построенный из палочек и замазки, хрупкий, как скорлупка и лёгкий, как вздох, пережил все отпущенные ему сроки. Колонны дворигов, построенные из блоков, соединённых свинцом, при землетрясениях гнулись, не обрушиваясь (впоследствии барселонский архитектор-модернист Гауди тоже использовал свинцовые сочленения). Штукатурка оказалась прочнее мрамора, только краски поблекли.

Главные достопримечательности дворца: двор львов, двор миров, зал послов, зал барки, зал двух сестёр, дворик Линдарахи.

Прямоугольный двор львов окружён самой искусной аркадой дворца, со сдвоенными и одиночными колоннами. С двух сторон аркады пристроены портики с тройными рядами колонн. Среди колонн ты как в лесу. Их капители по высоте равны самим колоннам и упираются в горизонтальные балки. В пространства между капителями вписаны арки. Чтобы не скучно было, арки устроены двойные или тройные, последующая нависает уступом над предыдущей. Самая нижняя арка — в виде подковы, над ней может быть полукруглая или прямоугольная.

На высоких прямых капителях колонн вырезаны гирлянды листьев, обрамлённые маленькими колонками. Балки покрыты арабским текстом. Арки покрыты белыми сталактитами из штукатурки. Над арками стены до потолка украшены сквозной резьбой в виде ромбов с закруглёнными углами, в которые вписаны круги или колокольца, окружённые кружевными фестонами. Повсюду видишь узоры, узоры, узоры. Где же я ещё видела такие орнаменты — мелкий внутри крупного, растительный внутри геометрического, один поверх другого? Ах да, во вложенных один в другой китайских шарах со сквозной прорезью, искусно сделанных из одного куска слоновой кости.

Посреди двора на скрещении арыков устроен фонтан, который мы к сожалению не видели — он был безобразно зашит досками. Под досками должно быть спрятано двенадцать львов. По легенде львы эти были подарены султану евреями и символизируют двенадцать колен израилевых. На фотографиях львы показались мне знакомыми, точь-в-точь как у ворот Пулковской обсерватории. В зубах у львов папироски, из которых льётся вода. Воду они извергали по очереди, по часам. После захвата Гранады христиане фонтан разобрали, чтобы понять, как он устроен — у европейцев ум аналитический, — и собрать потом не смогли. (Я представляю, с каким ужасом смотрели цивилизованные мусульмане на христианских варваров — как римляне на вандалов.)

Двор миртов — ещё один длинный прямоугольник с двумя портиками напротив друг друга. Вдоль всего двора вытянут бассейн, в котором отражаются арки и Башня царицы; вдоль бассейна тянутся два толстых валика стриженных миртов. В бассейн стекают по желобам струи небольших фонтанчиков. Арки портиков большие, полукруглые, резьба на них менее замысловатая, чем во дворе львов. Зато на задних стенках портиков над поясом из изразцов находится один из самых изящных узоров Альгамбры, на котором стихи переплетаются с листьями, цветками и завитками.

Наилучшие сталактиты свисают из-под купола в зале Абенсерахов, где по приказу султана абенсерахнули сторонников Боабдила. Купол этого зала — восьмиконечная звезда, на лучах которой с каждой стороны по окну с резной решёткой — слабого света достаточно, чтобы осветить потолок, придав ему тёплый цвет воска. Под лучами нависают фантастические соты из ячеек разного размера и формы, расположенных под разными углами, отбрасывающие причудливые тени.

Оконные рамы и ставни, потолки и двери залов сделаны из рез-

ного кедра и кипариса, обработанных проще и строже, чем штукатурка. Кедровая древесина — наилучший материал для резчика; она не имеет рисунка, и потому на ней хорошо проявляется выпуклый рельеф. Узоры потолков и дверей сплетены из пересечения широких линий, прорезанных желобками и напоминающих полосатые ленты. Переплетение лент создаёт восьмиконечные звезды, ромбы и наконечники стрел. Иногда внутри звёзд ещё имеется узор из тоненьких линий, перекликающийся с главным, большим узором. Если сложный узор напоминает срез апельсина, стиль называется “наранха” (апельсин), а если линии перекрещиваются под углами, как соломенное плетение, это “узелковый” стиль.

На потолках промежутки в переплетении кипарисовых лент заполнены инкрустациями из перламутра. На ставнях вырезаны сквозные узоры: мелкие дырочки в толстой доске в виде ромбиков, треугольничков овалов и кружочков — как будто цветки, ромашки или подсолнухи. Меж узоров набиты тонкие рейки, образующие асимметричный рисунок-лабиринт вроде запутанного плана мусульманского дома. Тяжёлые двери украшены крупными узорами и накладками из потемневшей бронзы. Рука тянется погладить старое, сухое, растрескавшееся дерево, отполированное столетиями прикосновений, тёплое на ощупь, впитавшее жар весеннего дня — даже высохшее, оно остаётся живым.

Стены залов внизу украшены фризами из разноцветных керамических изразцов, изготовление которых было доведено арабами до совершенства. На каждой плитке на белом фоне фигуры, тёмно-синие, лазурные, зелёные, охрачные и жёлтые: ромбик, или восьмиконечная звезда с толстым пузом, или широкая стрелка, или какие-то пропеллеры, или странные многоугольники, вроде как бывшие квадраты с неровно срезанными углами. Из плиток сложены узоры. Мастера не гнушались простыми, как в бане, орнаментами — столбики, шахматная доска, — или выбирали более замысловатый, но повторяющийся ритмически узор переплетающихся линий, изломанных под прямыми и острыми углами.

Над фризом начинается чудо резной штукатурки; геометрические узоры сплетают в единый ковёр и тексты, и растительный орнамент. В Альгамбре полно поэзии, — буквально: стены украшены поэмами, которые для посетителей, не знающих арабского, немые или просто незаметны, и воспринимаются ими, как странный асимметричный узор, как будто выжатый из тюбика с зубной пастой. Контур орнамента, обозначенные лентами с узором, заполнены завитушками или тонкими фантастическими травами со

стилизованными листьями, и каждый листок травы в свою очередь покрыт мелкими цветочками и трилистниками, или насечкой из полосок и колечек. Глубина резьбы зависит от величины завитушек — чем крупнее, тем глубже. Соотношение глубин игрой теней придаёт узору дополнительную рельефность, ещё усиленную тем, что свет всегда падает под острым углом.

Фриз и орнаменты дворца Назаридов похожи на тонкую сетку жил стрекозиных крыльев, или, ещё вернее, на кружево оренбургского платка светлой шерсти, где основной узор выделяется на фоне бесформенной дырчатой массы. Редко-редко проступают на поверхности остатки голубого или розового, напоминающие о том, что нынешняя платковая однотонность стен была когда-то цветной пестротой восточного ковра.

Некоторое впечатление о том, как выглядели стены раньше, можно составить, разглядывая арку над окном, выходящим в сад Линдарахи. Когда глаза привыкнут к темноте, оказывается, что разные элементы настенного узора не только вырезаны на разную глубину, но при этом по-разному раскрашены и поэтому ещё сильнее выделяются. Над полукругом бледно-розовой арки с зеленоватыми медальонами нависает уступ из белых сталактитов, стена над которым окрашена голубым; — тусклые краски благородной старости, на фоне которых яркая глазурь плиток кажется вульгарной. Но когда-то краски стен были такими же яркими, как и плитки; какой эффект это производило, мы уже никогда не узнаем. Дворец обманчиво прост, в его убранстве, комната за комнатой, повторяются одни и те же идеи. В каждой комнате фриз из керамических плиток, над ним орнамент до потолка, над ним балки, проёмы арок и потолочные углы с сотами вырезанных из штукатурки сталактитов, больших и маленьких, покрытых мельчайшим узором.

Отчего же Альгамбра производит такое сильное впечатление на посетителей, особенно северян; отчего же каждый выходит из Альгамбры очарованный, или хотя бы изумлённый, как будто он побывал в затейливой и длинной восточной сказке? Оттого, что в её повторяемости творчество, как в теме с вариациями. Невозможно не поддаться ритму монотонной пестроты, не увлечься фантазией творцов сложного орнамента, не застрять у каждой стенки в изучении мельчайших его элементов, которые умело тебя затягивают, издали похожие друг на друга, вблизи — уникальные.

Психолог художественного творчества Рудольф Арнхейм в книге «Искусство и визуальное восприятие» обсуждает разные способы создания зрительного баланса в художественной композиции.

Построения, состоящие из мелких повторяющихся элементов, Арнхейм называет “атональными”. Монотонная повторяемость малых элементов приводит композицию в состояние устойчивого равновесия. В западной живописи доминирует композиция из нескольких ведущих элементов, размеры которых подчиняются иерархическому градиенту, композиция, наиболее подходящая для отображения мира как точки приложения централизованных сил. В противоположность этому, в атональной композиции существует изотропное распределение сил, которое лучше подходит к отображению потока жизни, в котором каждый элемент это малая, но необходимая частица, без которой разрушится целое.

Изотропный мир, созданный художником, не имеет направления, и куда бы ты не пошёл, ты остаешься на одном месте. Такое искусство отвечает нашим представлениям о восточной жизни и восточной философии, обусловленных природными условиями — когда жарко, спешить некуда, можно поразмышлять. Сейчас Восток для нас прочно связан с исламом. Но корни восточного узора на самом деле находятся в древней христианской культуре коптов. Атональные композиции были заимствованы мусульманами из восточных христианских манускриптов. И не только мусульманами — “ковровые” композиции встречаются в древних рукописных евангелиях кельтов.

На современном Западе мы нечасто видим атональные композиции. Тем не менее мы встречались с идеей Альгамбры в её западном преломлении, даже если никогда не бывали во дворце Назаридов. Альгамбрские плитки, подобно чешуям рыб слагающиеся в абстрактные узоры, оказали глубочайшее впечатление на Мориса Эшера, и в его рисунках мы видим квинтэссенцию Альгамбры: фон узора превращается в самостоятельный орнамент, одна монотонность медленно переходит в другую, из двумерности в трёхмерность, из выпуклости в вогнутость, из дня в ночь, и обратно.

На уровне глаз альгамбрскую вязь возможно рассмотреть, но выше, вырезанное с неменьшей любовью и тщанием, сумеет оценить только аллах или телеобъектив. Изошрённые узоры не повторяются, и, вооружившись твёрдым желанием всё увидеть и заметить, надо месяц ползать по Альгамбре с лупой и биноклем. Но у кого же есть на это время? Если ты попал во дворец Назаридов на час-полтора в первый и последний раз в жизни, то приглядываться некогда, ходишь из зала в зал и однообразно удивляешься — ишь чего они тут понакрутили! Все узоры становятся одинаковыми, глаз воспринимает только общую идею штукатурки как ковра.

А современники дворца, для которых все было сделано? Привыкали ли они к этим узорам, переставали замечать, воспринимали как обои, ковёр, или при тихой неспешной жизни разглядывали стенки часами как картину? Перефразируя мой вопрос — с чем мы имеем дело в Альгамбре, с прозой жизни или поэзией, с высоким искусством, или с утилитарным, привычным, примелькавшимся для современника?

Разглядеть что-либо трудно, всё в темноте. Всё предназначено для сохранения прохлады в адскую жару. Свет идёт из дверных проёмов. Окон почти нет, а те, что есть, располагаются на большой высоте и закрыты ставнями с небольшими прорезями, едва пропускающими свет. Окна во двор, затенённые аркадами, наоборот, высокие и начинаются почти на уровне пола, с широкими подоконниками, на которые можно положить подушки, усесться и смотреть на маленький дворик, засаженный апельсиновыми деревьями. Например, на дворик Линдарахи. Там сад с фонтаном, покой, умиротворённость, вода журчит.

Смысл названия “Линдараха” потерян. Кто считает, что это “спуск к реке” на арабском, а кто — имя восточной красавицы гарема Назаридов. Гарем, который был расположен рядом с двориком, давно опустел, и мне удалось полюбоваться только ленивой красивой кошкой, отсыпавшейся на крыше (кошка — животное, угодное пророку Магомету). Но я не огорчилась; к чему мне гаремные красавицы? Романтизм, который для многих таится в образе красивой, ленивой молодой женщины, содержащейся взаперти, мне непонятен. Восточные красавицы, гаремы, ленивая южная жизнь меня не занимают. Рахат-лукум слишком сладок. На эту поэзию и романтику у меня взгляд со стороны с удивлением. Хотя вот и Вашингтон Ирвинг, и Теофиль Готье — разные страны, разные культуры, — подпали под очарование Альгамбры. Может быть она говорит больше мужчине, чем женщине?

Увы, особенно расслаживаться и умиротворяться не приходится. Альгамбра забита людьми до отказа. Аккуратно, зигзагами, обходишь, нет-нет да и стукая кого-нибудь рюкзаком, сгустки экскурсантов, коагулирующих вокруг экскурсоводов, которые на разных языках рассказывают об Альгамбре, хотя рассказать-то толком нечего. Кто строил эти дворцы, кто резал узоры — неизвестно, и даже предназначение помещений не особенно ясно. Факт удивительный — не осталось описаний современников о строительстве Альгамбры и жизни её обитателей. То ли эти подробности не считались достойными записи, то ли делись эти записи куда-то.

Толпы людей мешают и психологически. Счастливы были прежние посетители: Боткин, Готье, — которые бродили по Альгамбре в одиночестве, срывая “грозды” винограда, счастлив Вашингтон Ирвинг, который жил во дворце, в комнате рядом с садиком Линдарахи. В этих буколических условиях, в состоянии, когда торопиться некуда, редкие посетители могли продегустировать Альгамбру и прочувствовать её так же, как и бывшие обитатели дворца Назаридов. А современный турист, в этом шуме и гаме на что он может рассчитывать, кроме общего утомления пестротой?

Поскольку поток людей теперь уже никогда не кончится, то что же можно предпринять, чтобы прочувствовать Альгамбру такой, какой она была задумана? Может быть я постигла бы душу Альгамбры, если бы я осталась в Гранаде ещё на один день и провела бы вечер во Дворце и садах Назаридов, среди фонтанов, окрашенных в жёлтый цвет огнями фонарей. Может быть, надо было зайти в музей Альгамбры, хранящий примеры хрупких вещей той эпохи. Резьба по слоновой кости, расшитая кожа, голубые вазы, составлявшие плоть Альгамбры, большей частью растаяли во времени, истёрлись, разрушились, разбились, унесли с собой тепло создавших их рук, и нам осталась только полуправда, стены, белеющие как кость скелета, омытая тысячей дождей.

Можно только вообразить, как по вечерам, освещая поэтические надписи на стенах, во всех залах горели сотни “ламп Аладина” и висячих светильников со стёклами в железной оправе. Зимой появлялись бронзовые жаровни, над которыми так приятно греть руки и смотреть на огоньки, блуждающие под серым пеплом. Ковры, подушки — зимой шерстяные, а летом кожаные (для прохлады), были небрежно разбросаны на низких диванах и широких подоконниках. Впечатление пышности создавали прежде всего одежды, убранство комнат: кинжалы и мечи с инкрустированными и чеканными рукоятками, великолепные фарфоровые вазы с тончайшим голубым и золотым узором, стеклянные кубки для вина — стекла цветного, непрозрачного. А стены с резной штукатуркой были только рамой для этой красоты и богатства. Христиане вынули из Альгамбры душу, как часовой механизм из фонтана львов (но они же и сохранили Альгамбру для потомков).

Садиком Линдарахи Альгамбра кончилась, и сколько не сиди на этом дворике, сколько не размышляй о судьбе Альгамбры, это не изменит грустного факта: больше во дворце смотреть нечего, пора уходить. Выходим в сады Партал через арку, увитую глицинией, задев за её сиреневые кисти. Партал составляют три вытянутые вдоль

крепостной стены террасы, укреплённые кирпичами, с кирпичными ступенями. На каждой — сетка дорожек между прямоугольниками клумб, огражденными стриженными невысокими кустами. На клумбах огромные ноготки и водосборы, примулы и многоцветные махровые садовые лютики, штамбовые розы, пионы, покрытые пышными розовыми цветками. В саду растут и деревья — магнолии, пальмы, апельсины, пирамидальные кипарисы. Из больших кустов настрижены шары, вазоны и большое странное сооружение с плоской верхушкой и глубокими нишами.

На краю сада, над обрывом к реке, находится небольшой двухэтажный павильон (Башня дам) с прилегающей к нему аркадой, через большие окна которой открывается превосходный вид на Альбайсин. Посреди сада выкопан бассейн, смысл которого в том, что он служит зеркалом для Башни дам с прилегающей аркадой и смотровой площадкой, и может заморозить всякого, кто согласен не считать часов и минут. На верхних террасах находятся бассейны поменьше, с широкой каймой мозаики, выложенной из мелких камешков, изображающей маки так абстрактно, что тут скорее всего не мак, а его платонова идея. Сад окружён стеною, которая выглядит, как слоёный пирог: прослойка кирпича, прослойка камня, между ними толстые слои выкрашивающегося раствора. Стена покрыта ползучими растениями, лианами, и на ней устроен небольшой водный каскад. Поразительно, что при султанах Парталя ещё не было; обидно за султанов.

На некотором расстоянии от дворца Назаридов находится летний дворец Хенералифе и фруктовые сады султана — фрукты и овощи которых предназначались не только для султана, но и для двух тысяч жителей крепости Альгамбра. Боткин замечательно описал эти сады: *“Дни мои проходят здесь каким-то безотчётным, невыразимо приятным сном. Встаю я в 6 или 7 часов и тотчас же иду в сад Альамбры, оттуда в Хенералифе: его большой, заброшенный, предоставленный одной природе сад имеет для меня особенную прелесть. Весь он, можно сказать, обвит виноградом. Высокие кипарисы окружены им сверху донизу, как гирляндами; золотистые грозды на тёмной, матовой зелени кипарисов, когда в них ударяет солнце, кажутся совершенно прозрачными. Вот синий, вот душистый москатель, вот круглый, золотистый и сладкий, а вот продолговатый и слегка кислый, который я всегда предпочитаю. Гранаты от спелости лопаются на деревьях, выставляя свои пурпуровые зёрнышки; на рыхлых от зрелости фигах — светлые капли сгустившегося прозрачного сока. Утра здесь от близо-*

сти Сиерра-Невады исполнены самой отрадной свежести, так что грозды покрыты холодным инеем. Какое наслаждение есть прямо с дерева эти грозды, ещё покрытые матовою, инистою свежестью утра! Освежившись виноградом, я возвращаюсь домой к завтраку, который обыкновенно состоит из двух яиц всмятку. Шоколад мне до смерти надоед”. Вот подлец, большой у него был отпуск...

Хорошо, что я перечитала этот фрагмент только по возвращении из Испании, а то бы Хенералифе меня страшно разочаровал. Фруктов там почти нет, только вездесущие апельсины. Сад Хенералифе рекламируют как самый ни на есть подлинный арабский сад, где всё, как при султানে. Но если это так, то у тогдашних жителей Альгамбры был сильный авитаминоз из-за однообразной диеты. Почему были уничтожены и синий, и золотистый, и круглый, и эллипсоидальный, и душистый виноград, кто ободрал все фиги, мне неизвестно. Объяснение номер один: по тому же, почему в царскосельском партере убрали узоры из разноцветного битого стекла, сверкавшего на солнце, как сокровища Агры — чтобы любители блёсток не вытапывали клумбы. Объяснение номер два — во времена султана *грозды* не свисали с кипарисов, эта вольность завелась только после разорения Альгамбры, и поэтому простительно стремление реставраторов сделать, как было. Словом, так или иначе, у Хенералифе отняли самое главное — очарование, поэзию, кисти москателя, чтобы придать саду более пристойный и ухоженный вид. Шоколад и яйца переехали в кафе отеля “Парадор”.

Но если не знать, что отлучили от винограда и гранатов, то получишь удовольствие от тихого зелёного лабиринтика: стенки и башенки из старого кустарника с побуревшими плешинами; дорожки и переходы, выложенные рисунком из камушков. В центре нижней террасы, в глубокой тени, под мелколистными сводами, спрятана чаша, а над ней переплетаются тоненькие водные струйки. На газонах как будто набросаны детские кубики, выстриженные из тех же кустарников. Клумбы засажены махровыми лютиками и сильно обрезанными штамбовыми розами. Из окон малого дворца султана открывается вид на крепость Альгамбру. Перед ним расстилается самый знаменитый двор-садик Хенералифе, который фотографируют для открыток и альбомов. Нет на нём могучих золочёных аллегорических фигур, нет Самсона, раздирающего пасть льва, но и не надо. Прелесть дворика в розах и маленьких фонтанах. Вдоль двора идёт длинный узкий бассейн, над которым переkreщиваются водные дуги. На концах бассейна и посередине поставлены плоские чаши слабосильных фонтанчиков. Это фонтаны людей, привыкших

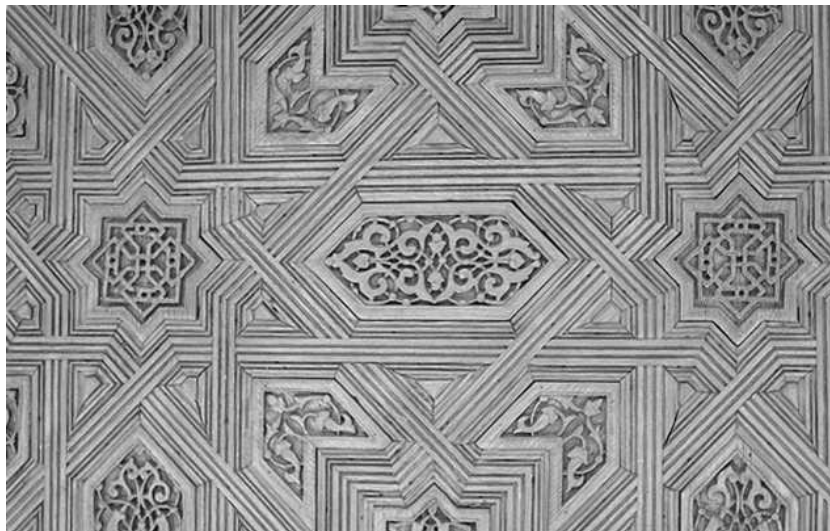
дорожить водой. Арабы любили не толстые пучки струй, бьющие с шумом вверх на много метров, а тоненькие ниточки, сверкающие на солнце, падающие с приятным тихим бульканьем в чашу или бассейн, полный воды.

Помню также какой-то искривлённый ствол древнего дерева и табличку на испанском о том, что вот мол здесь встречались какие-то средневековые любовники. А что за любовники, не знаю — о них в путеводителе ни гу-гу. Дальше начинается подъём уже на террасы эпохи Возрождения с красивым регулярным садом.

Как ни бросить взгляд на Гранаду с высочайшей точки, с террас дворца Назаридов! Вспоминаешь Толедо, город песочного цвета, и с интересом отмечаешь, что Гранада другая — белые дома, розовые крыши; поднимается вертикально, уступами по другой стороне ущелья: домики с террасами, средневековые дворцы, церкви. Виднеется башня-колокольня — параллелограмм с невысокой четырёхскатной кровлей. Кажется, я вижу террасу ресторана, с которого нас вчера выперли. Вот четырехугольник с парусиновым тентом, натянутым над внутренним двором — как похоже на нашу гостиницу — да это она и есть, игрушечный домик у игрушечной речки. Площадка у Св.Николая, а на ней крошечные точки-люди. Там и тут в этот чудесный макет воткнуты пирамидальные кипарисы — дерево экономное, много места в мусульманском двореке не займёт, но и тени не даст настоящей.

Можно долго стоять, наблюдать, но я не умею. Это занятие для гаремных женщин, для которых собственно и были устроены все эти террасы и смотровые площадки. Столько их, что смотреть вдаль наверняка было любимым занятием в неспешной жизни обитателей Альгамбры. Вдали ничего не происходит — всякое движение, кроме движения облаков, слишком мелко для рассмотрения. Поэтому вид с горы располагает к философскому спокойствию.

Прощальный взгляд можно бы продлить, медленно спускаясь по дороге, ведущей прямо к площади напротив нашего дворца-отеля, и видя, как всё крупнее и крупнее становятся дома на противоположной стороне, а мы всё ниже и ниже, и вот мы уже у русла Дарро, и восстановлены правильные пропорции между нами и Гранадой. Но времени опять не было, и пришлось уехать на рейсовом микроавтобусе, испытывая горечь слишком скорого расставания с Альгамброй.







Севилья

Из Гранады мы перебрались в Севилью, и опять на автобусе. Второе автобусное путешествие отличалось от первого, как “Вестсайдская история” от “Вишнёвого сада”, как Одиллия от Одетты, как турнепс от брюквы, как... ну, вы меня понимаете. Чтоб неповадно было ездить этой компанией, нас прокатили с перчиком, с шумом, гамом и зажигательной музыкой; долго нам кино крутили, где кого-то долго били. Я в принципе не против таких фильмов, но не в дороге, когда хочется полюбоваться окрестностями и помечтать. Впрочем, смотреть-то было не на что, мы ехали по Вехе, плодородной, но скучной долине Гвадалквивира.

В этой долине, в деревушке Фуэнте Вакерос родился в 1899 году Федерико Гарсия Лорка. Во времена Гранадского эмирата Веха была богата и изобильна, но с тех пор христиане успели удручающе обеднеть. По воскресеньям Федерико не мог зайти в гости к своему однокласснику, потому что все обитатели дома ходили голышом — стирали единственную смену одежды. Ну, нищета на фоне природного богатства не должна удивлять русского человека.

Плохо жили не только в Андалузии, но и вообще по всей Испании, по свидетельству Гарри Франка, который чего только не на-

смотрелся при своём хождении в народ! Вот например вечерок в галисийской горной деревне. Топят по-чёрному, глаза слезятся, ну и ладно: на кой они, если в единственной комнате испанской избы, которая служит попеременно то кухней, то столовой, то гостиной, освещения всё равно нет, только в углу тлеют угли очага. Заплаканный Гарри с трудом разглядел в полутьме с десятков сотрапезников, хлебавших, — причем не ложками, а кусками хлеба, — баланду из общего котелка. Для Гарри гуманно налили суп в отдельную миску. У хлеба оказалась необыкновенно твёрдая корка, но это можно было пережить, а вот капустный суп Гарри решительно не понравился, — то ли он к щам не привык, то ли испанцы опять соорудили нечто невообразимое; собственно, чего и ждать от особой испанской капусты, которая по словам Франка растёт на двухметровом стебле. Кто-то всё время поглаживал Гарри по щекам, но не хозяйка дома — оказалось, что это тучи мух, залетающие из хлева, устроенного в соседней комнате. (Ну, мухами нас не рассиропишь: по мне так лучше испанские мухи, чем отечественные клопы.) Ночевать Гарри отправили на чердак, среди огромных жерновов того самого жесткошерстного хлеба. Его пекли раз в полгода, и толстенная корка не давала ему высыхать.

Сама я в Галисии не была, но не оставляю надежды всё же когда-нибудь увидеть круглые хлебы, мух и прочие атрибуты суровой жизни испанских трудящихся. Благодаря Гарри мы теперь подготовлены к путешествию, знаем, чего нужно ждать, когда испанец приглашает в гости. Укрепляйте зубы, запаситесь батарейками к фонарику. Кстати, пижаму с собой не берите и не трудитесь паковать зубную щетку — спит испанская публика на собственных армяках, подложив под голову сёдла (у кого они есть), одетая, чтобы утром не терять время на всякую ерунду вроде умывания и одевания.

Одновременно с Гарри по испанской глубинке путешествовал и молодой Гарсия Лорка в поисках памятников старины и народных песен. Он смотрел на этот мир другими глазами, и видел не только страшную нищету, но и поэзию испанской деревни. Лорку и его современников не удивляла страна парадоксов, где среди разливанного моря постыдной бедности и суеверия тут и там торчали утёсы вполне цивилизованных и культурных городов. Читатель, бди — какое государство тебе вспоминается, какие параллели напрашиваются? И не кажется ли тебе, что чудовищный революционный взрыв 1936 года, когда испанцы буквально начали откусывать друг другу головы, можно было предсказать ещё в 1917-м?

В отличие от Гарри Франка, который предпочитал всюду ходить пешком, мы, как настоящие буржуи, с севильского автобусного вокзала в отель поехали на такси — удобно и недорого. Но особенности севильского градостроительства заставили нас преждевременно катапультироваться: такси бросило нас у какой-то щели в стене — дальше ему хода не было, — и мы безропотно полезли в эту щель, волоча за собой наши катючие чемоданы. Наша гостиница по-старинному выходила на улицу-щель только передней стеной без окон, но внутри оказалась современная, и номер в отеле был удобный.

Время было позднее, стемнело, и надо было подумать об ужине. Мы вышли из гостиницы на узкую улицу и шли, пока она не загнулась под прямым углом и не упёрлась в бульвар. В проёме бульвара на фоне чёрного неба открылась жёлтая колокольня “Хиральда”, подозрительно похожая на кремлевскую башню. (Это сходство наводит на удивительные выводы об истоках московской архитектуры.) До плеч Хиральда выглядит как минарет с красивым кирпичным рельефом. Тут она раньше и кончалась и была украшена четырьмя полированными медными шарами — зрелище, должно быть, потрясающее. Но шары стряхнуло землетрясением, (что с ними случилось после этого, история умалчивает, наверно бомжи сдали их во вторчермет), а минарет надстроили башенкой из нескольких ярусов, в стиле эпохи Возрождения.

Если сравнить с колокольной Толедского собора, то Хиральда производит гораздо более умеренное впечатление, повседневное, будничное. Вот бы взять верхнюю часть Толедской колокольни и приставить её к минарету Хиральды — цены бы ей не было. Внутри Хиральды сделана рампа для всадников: строители разумно предположили, что у всякого свой вкус — кто-то не расстается с бейсбольной кепкой, кто-то не вылезает из седла. Я на Хиральду не полезла, потому что у меня не было белой лошади. Поскольку испанцы путаются в звуках собственной речи, Хиральда пишется как Гиральда, откуда сметливый читатель и выведет этимологию этого названия. Подскажу — башню венчает эдакий вертухай-гироскоп, некто в шлеме со щитом.

Под Хиральдой мы пристроились покушать. Зашли куда попало. Я не знаю толком, что нам принесли, но если бы меня попросили сварганить что-либо подобное, я бы насобираала рыбьих плавательных пузырей, набила их присосками осьминогов и обваляла в клейкой чешуе корюшки. Я не сомневаюсь, что это местное лакомство, и что его можно скрасить большим количеством пива.

И до этого наши ужины были ужасные. И дальше всё то же, одно гастрономическое приключение за другим. Попросишь рыбу, несут кишечнополостное. Ну кого они хотят провести? Человека с университетским образованием! Уж я ли не отличу хордовое от беспозвоночного?

При всём изначальном горячем, всепрощающем желании понять и принять местную кухню, со мной этого не произошло. О испанской еде я пишу честно и откровенно, и поэтому настоятельно прошу моё эссе на испанский не переводить: оскорбить национальную еду это всё равно, что оскорбить маму читателя. Тем более, что где-то ведь должны быть приличные столовки, которые мне злокозненно не попадают! Кто-то про них знает. Сорокалетняя владелица известного лос-анжелесского ресторана провезла по Европе своего двадцатилетнего любовника и показала ему, где и как можно вкусно поесть. Хорошо бы, чтобы мне было двадцать лет, и мой сорокалетний любовник привёл меня в хороший испанский ресторан. Или на худой конец, пусть меня приведет даже американская рестораторша, но чтобы еда была НОРМАЛЬНАЯ! Или может еда в Испании всегда ненормальная, и от этого они такие худые...

В жуткие испанские рестораны мы ходили не только потому, что не было времени и сковородки. Самим поесть, купивши магазинных продуктов, тоже непросто. Мы сразу застрадали от отсутствия простокваши — за ней надо специально охотиться. Лезут на глаза только “Дворцы хамона (ветчины)”, как их тут гордо называют, где тысяча сортов жёсткой и красной сырокопчёной ветчины, и всё на один вкус, но *“при всём богатстве выбора альтернативы нет”*: привычную нам ветчину, нормального копчения, мягкую и розовую, не найти. Постепенно появляется ощущение, что ты один-единёшенек, сиротиночка, *по* хамонам *ты долго скитался, не имея родного угла*; все продукты стали ветчиной, чудится, что разлوميшь хлеб, и внутри опять увидишь ветчину — полная победа христианства над исламом.

Вечер после подозрительного закусона тоже не задался. Превозмогая сон, мы походили по улицам, залитым жёлтым, как свет прожекторов Хиральды, освещением. Публики было много, но тихой и в основном заседавшей по пивным. Так мы и не увидели весёлую ночную жизнь Севильи, которую превозносит множество путешественников.

Севилья всегда славилась весельем, лёгкостью и любовью к праздникам. Во времена Боткина севильяно днём отсиживались в комнатах с плотно закрытыми ставнями, охлаждая воздух с помощью

громадных пористых амфор, наполненных холодной водой, с тоской глядя на плесень, заводящуюся от этих примитивных испарителей, и жизнь начиналась только вечером, когда весь народ высыпал на прогулку. *“Глаза андалузов сверкали и в темноте”*, продирая Боткина электрическим разрядом упоительной силы.

Во времена Гарри Франка на ночную деятельность местного населения был так сказать направлен луч прожектора (провели освещение), и обнаружились дополнительные колоритные детали. *“На закате, после сиесты не только модно, но и разумно спуститься к берегам Гвадалквивира у Золотой башни и побродить пару часиков по тенистой Аламеде — здесь лучшее общество Севильи, да и наилучшее тоже — весь город катается в коляске или шлёпает по гравию в пеньковых сандалиях. Но только ночью Севилья полностью просыпается и превращается в источник радости”*.

Проснувшаяся публика медленно циркулирует по плазе Фернандо, в общем потоке, мощном и необоримом, как Гольфстрим, любуясь собой и окружающими. Между ними бегают и зычно кричат разносчики воды, продавцы апельсинов (наранхеро), лотерейных билетов и спичек (курят в Испании все поголовно, как в Советской России). Плаза ярко освещена, на ней с девяти до полуночи играет военный оркестр, пожилые отцы семейства, усевшись перед уличным киноэкраном, с удовольствием смотрят фильмы, в которых артисты падают со стула и кидаются тортами. В маленьких группках людей начинаются танцы: отец или брат принесли гитару, может быть подобную той, что я видела в музее — поджарый инструмент 17 века, с пятью двойными рядами струн, с мавританским узором из перламутра. Под гитарную мелодию и стук кастаньет маленькие девочки пляшут фанданго.

“Представьте себе американца, который выйдет с гитарой на улицу”, иронизирует Гарри Франк в 1910 году. В наше время представить себе такого американца легко; и в Нью-Йорке и в Вашингтоне самодеятельные певцы с утра до ночи оглашают воплями под фонограмму или живую гитару площади перед метро, но бедный Гарри Франк уже успел состариться и умереть, и не увидел торжества испанской живости на американских улицах.

Боткину волнующей казалась беседа на ночной скамейке с незнакомой севильянской в чёрном платье и чёрной мантилье, лихо отбивающей веером такт беседе (я и сейчас не могу надивиться на то, с каким шиком испанка открывает и закрывает веер, прямо как заправский картёжник колоду карт). Женщины во времена Гарри Франка уже не носили национальных костюмов, но ещё не расста-

лись с мантильями. Что за прелесть были эти женщины, которых учили только читать (молитвенник?), но не писать, чтобы не строжили любовных записок. И что же, вот ирония истории, как выражался Карл Маркс — при всеобщей грамотности кто сейчас пишет любовные записки, у кого есть к этому необходимость, не говоря уж о времени и желании? Где беседы с кавалерами сквозь решётку, где простота общения с дамой на тёмной севильской скамейке, где наконец красотки, дарившие лорду Байрону при первой же встрече прядь волос длиной в три фута? Ничего этого мы не увидели.

Если в Севилье где-то всё же и идёт кипучая ночная жизнь, мы были счастливы оттого, что её звуки не залетали во внутренний дворик нашей гостиницы, в особенности после испытаний ночной Гранадой. Но утром этот чудо-дворик показался таким стерильным и скучным. В нём были две-три кадки с невзрачными растениями и пластмассовые столики со стульями. А Боткину со двором-патио в Севилье повезло: *“Со всех сторон обставлен он тонкими мраморными колоннами; посреди, в большой мраморной чаше, бьёт фонтан, окружённый гущею южноамериканских растений и цветов, которые здесь так же привольно растут, как в своём отечестве”*. В Кордобе дело обстоит ещё лучше, двор его гостиницы, *“мавританский, с тонкими, изящными колоннами”, “густо покрытый виноградом с огромными тёмными кистями, даёт днём самую отрадную прохладу, которую ещё увеличивает бьющий посреди фонтан, обсаженный кринумом; по вечерам эти великолепные цветы имеют запах упоительный, раздражающий нервы и воображение...”* По зрелом размышлении, я предпочитаю наш отель; лучше так, чем шум, гам и крин (лилии), запах которого меня действительно раздражает, но не в боткинском смысле.

Севилья показалась мне разрушающимся городом со следами былого великолепия. Тут сияет, там облупилось. Гибриды радости и распада: верхний этаж почти развалился, окна заколочены, но внизу оживлённое кафе, нарядная публика, смакующая свободный вечер....

На крышах соборов растут деревья. Севильский собор при первом впечатлении из окна такси показался мне замком сказочного колдуна: огромная масса причудливых камней, с деревьями на карнизах и крыше. Я бы растительность ободрала, камни помыла, дырки залепила, и тогда собор не пугал бы мнимой заброшенностью, но и не производил бы такого фантастического впечатления. Перед тобой великолепное мифическое животное. Снаружи собора как рыбы кости, торчат изящные аркбутаны, соединяющие три уровня

крыш. Каждая крыша отрастила по контуру каменные плавники-парапеты со шпицами, похожими на продолговатые восточные флаконы для благовоний или шпильки с бомбошками. Фасады украшены искусно отделанными порталами, построенными с интервалом в десятки или сотни лет, в стилях разных, но нисколько не противоречащих друг другу. На этих порталах много скульптур из тёмной глины (Севилья славилась терракотой), которые кажутся гораздо теплее каменных.

Интереснее всего рассматривать собор с востока, там, где из стены выступают полукруглые апсиды трёх самых больших часовен. Эти полукруги разбивают огромный фасад на отдельные удобоваримые, доступные человеческому пониманию элементы.

Севильский и Толедский соборы представляют собой прекрасный пример особенностей испанской архитектуры, созревшей в некоторой изоляции и при сильном влиянии мавров. Есть страны, в которых архитектурное своеобразие бросается в глаза — Камбоджа, Узбекистан, Россия (имею в виду не Санкт-Петербург, а старые русские города), — но для центральной Европы это не характерно. Я, как человек ненаблюдательный и далёкий от архитектуры, наверно не отличу немецкого собора от французского; они близки по стилю. А вот в Испании даже я почувствовала особицу и сумасшедшинку архитектуры, возникшей на границе смешения двух культур.

Рассмотрев Севильский собор со всех сторон (а это не для всех испанских соборов возможно, потому что к ним часто вплотную пристроены дома, и получается целый улей), я поняла барселонского архитектора Гауди; мне он раньше казался кошмарным сном модерна, но на самом деле Гауди — плоть от плоти испанской архитектуры. Разумеется, Гауди был главным психом среди всех психованных строителей Испании, и ещё усиливал свой психоз голоданием, но вот что чудесно — все его безудержные, казалось бы, фантазии прочно заякорены в продержавшемся сотни лет своеобразии испанской архитектуры. Это мы не привыкли к специфике испанской готики и безумному барокко вокруг дырки в потолке (“Транспаренте” в Толедском соборе), а он привык и приспособил их к своим проектам. Странные порталы его собора Фамилия Саграда это топологические пермутации портала в Севилье; формы вытянутых куполов того же барселонского собора заимствованы у бомбошек Толедской колокольни.

Севильский собор, *Magna Hispalensis*, входит в четвёрку главных готических соборов Испании вместе с *Nobilis Burgensis* (Бургос), *Pulchra Leonina* (Леон), *Dives Toletana* (Толедо). По величине

он третий в мире, а по объему — первый. В 1401 году, воспользовавшись отсутствием архиепископа, каноники старого севильского собора приняли решение — *“Построим самый большой в мире собор, пусть вся Европа думает, что мы сдурели”*. И не просто порешили, а ещё и скинулись на этот собор, так, чтобы из их доходов им оставалось только на хлеб и на воду. Через 70 лет собор был построен (“в основном”, как социализм в год отмены НЭПа), и началась его достройка и украшение, продолжавшиеся несколько столетий. В это время собор обрастал часовнями. Достраивали и добавляли даже в 20 веке — облицовку фасада, надгробия, но старались сделать их, не слишком нарушая стиль. Единственное исключение — стальное многометровое сооружение при входе — Боже мой, это Мадонна... Иногда прошлое лучше оставить в покое, не доделывать его.

С самого начала над собором работали люди из разных стран. Стены возводили Саймон из Кёльна и Хуан из Нормандии. Почтеннейшие франкмасоны кочевали по Европе, из города в город, предлагая свои услуги, устраивали международные съезды в каком-нибудь Регенсбурге, где члены общества клялись никому и никогда, и ни при каких обстоятельствах не выдавать своих секретов. Какие-то секреты, которые нужно так тщательно оберегать? Очень просто: римские-то архитектурные приёмы были начисто утрачены, и каждый средневековый собор строился наудачу. В этих условиях огромное значение приобретал опыт Мастера и его каменщиков, заново изобретавших методы строительства.

Мастер, объединявший в себе архитектора и инженера, должен был построить огромный дорогостоящий собор с первого раза, без чертежей, потому что чертежи бесполезны, прочитав их всё равно никто не сумел бы. Архитектор держал свой замысел в уме и объяснял каждому кусок его работы на пальцах. Модели почти никогда не делали, поскольку они были чудовищно дороги. У самого архитектора существовала только общая идея собора, неизбежны были инновации и отступление от традиционных планов, появлялись непредсказуемые осложнения, приходилось импровизировать.

Строитель готического собора, как сапёр, ошибается один раз, и не обходилось без казусов. Например, в Севильском соборе вскоре после строительства осыпался купол королевской часовни, украшенный полихромными скульптурами святых. Строил его Саймон из Кёльна. Построенный им в Бургосе купол тоже обвалился. Не всегда это была вина архитектора, или, если и была, то, потренировавшись на одном соборе, он мог кое-чему научиться на своих ошибках и правильно использовать реванш, если судьба его предо-

ставляла. Вспомним, что Россия приняла в свои объятия Аристотеля Фиораванти, который сбежал из Италии после того, как рухнула построенная им церковь. Аристотель *оправдал доверие партии и правительства*, чему свидетели построенные им соборы Кремля.

Соборы подстерегают и другие опасности. Поскольку период их внутриутробного развития длится лет по двести, за это время неизбежно сменяется несколько архитекторов. Каждый получает на руки недостроенный собор с неизвестным проектом. Хорошим примером может служить прекрасно задокументированное строительство собора Св. Петра в Риме. Хотя собор этот начали строить лет через сто после Севильского, и через триста после Толедского, думаю, что истории их постройки отличаются немногим.

В первые, самые критические годы строительства собора Св. Петра, когда определялся общий замысел, один за другим сменялось несколько архитекторов — Браманте, Сангалло, Микеланджело. Ни один из них не хотел пользоваться проектами своего предшественника, и не только из тщеславия — ведь у каждого из них был свой наработанный опыт строительства, свои технические навыки, а все идеи были новаторскими, никогда ещё не были проверены и вызвали законные сомнения у преемников. Поэтому замысел собора Св. Петра непрерывно мутировал, купол на плане то прищуривался и сплющивался, то вытягивал шею; в недостроенном здании утолщали колонны, надстраивали пол, укрепляли стены, заливая цемент в проделанные дырки.

Такой же бурной должна была быть история готических соборов Севильи и Толедо. Мы глубоко заблуждаемся, если думаем, что в готических соборах мы видим изначальную идею, доведённую до конца. В семечке фикуса ничего, кроме фикуса, не запланировано, но из семечка собора вырастает сооружение с листьями фикуса, цветками розы и плодами ананаса, и не кажется нам странным.

На смену каменщикам приходили художники, скульпторы и ювелиры. Севильский собор это памятник испанским художникам мировой величины (Гойя, Сурбаран, Мурильо) и другим, менее известным за пределами страны, непонятно почему — я удивляюсь их малой известности, посмотрев на их замечательные картины. Может быть оттого, что в Испании переизбыток первоклассных, от Эль Греко и Веласкеса до Пикассо, и есть из чего выбирать.

Внутреннее убранство Севильского собора создавали не только испанцы, но и фламандцы, бретонцы, итальянцы. Как и каменщики, художники, скульпторы и резчики путешествовали всю жизнь, часто уезжали со своей родины для того, чтобы получить образование

в другой стране. Например, фламандец Педро де Кампанья, ученик Рафаэля Урбино, провёл 20 лет в Италии, потом перебрался в Испанию и расписал один из многочисленных алтарей Севильского собора. Витражи создавал Энрико-немец (похоже, Эль Греко нечего обижаться на свою кличку). Находишь майолики, так похожие на те, которые видел во Флоренции, и действительно это Лука делла Роббиа. Словом, списки мастеров напоминают перечень национальностей в гостинице, где остановился злосчастный мистер Твистер. Я упоминаю об этом, потому что для меня это ново; я не представляла, как мало было в средневековой Европе провинциализма, как много связей между странами, как перемешивались культуры, замесивались стили. Знаете ли вы, что большинство крупнейших романских соборов построены в Европе армянами?

В такой обстановке удивительно, как вообще могло возникнуть национальное своеобразие. Наверно, испанский стиль зарождался и густел в душе свободных художников Франции или Германии, пока строители-перипатетики шли пешком по Испании к месту назначения мимо мусульманских дворцов и мечетей и удивлялись смотрителю как тут у них все устроено...

Получается, что некоторые цивилизации могут преодолеть глобализацию экономики. Вспомним феномен Аристотеля Фиораванти, который в Италии строил плохие итальянские церкви, а в России построил прочный собор, из русских наирусский.

Тогда, на Московской Руси, итальянец проникся русским стилем. Почему же всё последующее в нашей стране — реплика немецких дворцов? Своеобразие пересиливало, пока им гордились и его хотели видеть. Потом, когда видеть уже не захотели, на смену пришло европейское барокко и рококо, во много раз усиленное русским богатством. То же произошло и в Испании. Испанцы перестали хотеть своего испанского стиля, жить им. Кто теперь-то строит великолепные причудливые здания, подобные Севильскому собору? Более того, кто о них мечтает? Вместо них появились международные бетонные блоки, воцарилась безликость простоты и рациональности — “дурная монотонность” в отличие от атональной монотонности альгамбрского орнамента. Хорошо ли это, плохо ли, но смена вкусов — это примета и роскошь цивилизации. Общество живёт долго, изменяясь и обновляясь, меняя шкуры архитектурных стилей и обычаев, в отличие от людей, у которых жизнь так коротка, что они не успевают измениться, снова и снова совершают одни и те же действия с одними и теми же последствиями, любя изо дня в день всё те же кислые щи.

В пространстве собора теряются и туристы, и кучки жалких пластиковых стульев, потерялся бы даже девятиэтажный блочный дом, в котором я жила в Купчино — он ведь высотой всего метров 25, а потолки главного нефа аж 35 метров. Вдоль рёбер потолка удивительная лепнина — как кисти скатерти.

Севильский собор, так же как и Толедский, в силу своей многовековой истории является и неофициальным музеем живописи и прикладного искусства. В нём столько всего, что множество тонких художественных вещей остаётся неосмотренными и неценёнными при первом и часто единственном посещении. Вот на глаза попала статуэтка богоматери, изящная, прилепившаяся незаметно на стене между часовнями. Откуда она? Оказывается, это подарок севильского землячества генуэзцев в 14 веке.

В Севильском соборе находится самый большой в мире деревянный алтарь, который резали не 11 лет, как в Толедо, а сотню, и за это время сменилось три архитектурных стиля — все они на этом алтаре и отображены. Алтарь выглядит, как стена из золота: раскрашенное дерево в золочёных рамах. В бинокль видишь интересные детали: осла и быка, которые со свойственным этим животным любопытством смотрят на новорожденного младенца, макет Севильи, такой, как она была в 16 веке. Биноклей в 16 веке у народа не было, а значит у наших предков было лучше со зрением и способностью к сосредоточенному разглядыванию.

Стоит обратить внимание на красивую деревянную резьбу органа, вокруг труб и над ними. Под звуки этого органа в праздник Тела Христова мальчики в костюмах пажей поют песни, не изменившиеся с середины 15 века, и танцуют старинные танцы под щёлканье кастаньет.

Часовни отгорожены от нефа искусно сделанными решётками. Самое большое старание приложено к верхним частям решёток. Особенно запомнились парящие в пространстве маленькие кованые из железа фигурки Богоматери и ангелов. Эти решётки добросовестно выполняют свою прямую функцию, преграждая вход в часовни. Поэтому мне не удалось залезть в Королевскую часовню и её как следует разглядеть, захватать руками статуи, протереть штанами бархат сидений. Жаль, судя по фотографиям, она великолепна, особенно двойные ряды скульптур под куполом. В часовне покоятся останки Фердинанда III (Св. Фердинанда), его жены и сына — Альфонсо X Мудрого. Святой Фердинанд, покоритель Севильи, был родственником Святого Людовика, и тот прислал ему в подарок статую Богоматери Королей, которая теперь занимает почётное

место на алтаре часовни. Скульптура одета в пышные одежды из настоящей материи, и внутри у неё специальный механизм, который позволял ей двигаться — во времена Людовика это не казалось странным и неестественным, а наоборот, считалось замечательным.

В соборе находится надгробие Колумба. Это нечто, пир духа для любителей цветастой реалистической скульптуры. Громадные короли, олицетворяющие Кастилию, Леон, Арагон и Наварру, в роскошных одеждах с рисунком из разноцветных сплавов, держат на своих плечах гроб Колумба. В том, что Колумб действительно похоронен в Севильском соборе, историки сомневаются — его кости могли затеряться после многочисленных переездов на маршруте Вальядолид-Севилья-Гавана-Севилья.

Может быть Колумб и не похоронен в Севильском соборе, но точно известно, что перед отплытием он молился перед образом Святой Марии Антигуа, с которым связана вот такая трогательная история. На месте нынешнего Севильского собора когда-то стояла мечеть, которую христиане переделали в церковь. В этой церкви находилась старинная (“Антигуа”) фреска необыкновенной красоты, в которую влюбился кардинал Диего Уртадо де Мендоса. Он распорядился перенести фреску вместе со стеной в часовню строившегося собора, и его желание было исполнено. Сам Уртадо де Мендоса не дождался до этого дня, но его надгробие находится в часовне у фрески.

От мечети остался только внутренний двор с рядами апельсиновых деревьев, самый большой из тех, которые мне довелось видеть, и Пуерта де Пердон (Ворота отпущения грехов), которые сильно отличаются от всех остальных врат собора. Как всегда у мусульман, форма ворот напоминает замочную скважину. Верхний круг скважины вписан в квадрат тончайшей восточной резьбы. Над проёмом находится замечательный по красоте барельеф, высеченный из камня, по бокам от проёма — терракотовые статуи Петра и Павла. Увенчаны ворота звонницей. Створки у ворот (из кедра, облицованного бронзой) ещё те самые, времён Севильского эмирата.

Западный фасад собора выходит на улицу Конституции, по ширине вроде как Невский проспект, со множеством высоких парадных домов. Один особенно привлёк мое внимание своей величиной и щедростью, с которой был украшен его фасад. Это здание бывшего театра, наверно и внутри роскошное, с золочёными ярусами лож, с креслами малинового бархата...

Рядом с собором находится уменьшенная копия Эскориала, где хранится архив Индии, не той, что со слонами, а американской Индии времён Колумба, с документами об освоении Нового Света. За

ним — вторая важная достопримечательность Севильи — Алькасар (замок, дворец, крепость), которую построил на руинах мусульманских укреплений король Дон Педро Жестокий. Дворец возводили мудехары, и поэтому он напоминает Альгамбру, и даже исписан цитатами из корана о том, что велик Аллах, но султан Педро тоже хороший. Так же, как и дворец Назаридов, Алькасар состоит из лабиринтов комнат, украшенных резьбой по штукатурке, с остатками небесно-голубой краски, и внутренних двориков с бассейнами, отражающими небо и красные крыши. Смотреть на это или удивительно, или восхитительно, в зависимости от того, как вы относитесь к Востоку и мусульманской культуре.

У дворца есть пристройка в готическом стиле, известная брюссельскими гобеленами. Но я гобеленов не люблю, и меня больше привлекли изразцы потолка и стен — синие сюрреалистические фигуры на жёлтом фоне: пышногрудые сфинксы, совы и птицы с длинными клювами, норовящие заехать соседу в глаз.

При Алькасаре есть большой сад за высокой стеной — красивый, старый, с фонтанчиками и бассейнами, с лабиринтом из умирающей туи.

Во дворике Алькасара какая-то женщина спокойно и сосредоточенно рисовала, и я ей позавидовала — её свободному времени, её готовности потратить час на набросок, вместо того, чтобы, схватив аппарат, немедленно всё попереснимать. Сидит и рисует, не спеша, потому что ей всё время загораживают перспективу туристы. Мне один мой рисунок Альгамбры был бы бесконечно дороже всех фотографий, потому что когда рисуешь — видишь. Но мечту о рисовании я уже давно забросила, это то, чем я заниматься никогда не буду, потому что сама создала себе в жизни суматоху.

Самое интересное для туриста время в Севилье — страстная неделя, когда по городу проходит, сменяя друг друга, с полсотни религиозных процессий от разных баррио (районов) и братств Севильи. Таких пышных процессий нет больше нигде в Европе. В каждой несколько носилок со сценами из Евангелия, с Богородицей. Богородицы разные, самая популярная в Севилье — Макарена, покровительница боя быков. Фигуры, которым может быть и пять, и двадцать, и четыреста лет, искусно вырезаны из дерева по канонам шестнадцатого века, с максимальным правдоподобием, и каждый год одеты в новые платья. В Страстную неделю вся Севилья закапана свечным воском от процессий. Тяжёлые носилки движутся как бы сами по себе, но на самом деле их несут носильщики, замаскированные бархатной завесой, натирая на плечах кровавые мозоли.

Люди стоят, запрудив улицу, ждут появления шествия, и когда из-за угла выплывают носилки, уставленные сотнями разноцветных свеч, с нарядно одетой Богородицей, народ взрывается криком: “Красавица, красавица ты наша!”

Процессии эти сохранились ещё со времён римской древности, когда на носилках носили Астарту. Народу нужны праздничные шествия, крестный ход или вот наши демонстрации, осмеянные и обруганные, участники которых норовили выпить без закуски на холодном майском ветру, ссорились из-за того, кому нести портреты вождей и тайком забывали их в переулках, но в то же время брали с собой детей и покупали им на улицах дивные лилии из медной проволоки, окантованные розовым шёлком, и шарики-раскидайчики на резинке: полосатые красавцы, сверкающие серебром, золотом, киноварью, ляпис-лазурью, охрой, умброй и сиеной цветной бумаги (а если от избытка любви распатронишь, внутри опилки), — целая охапка неотразимо подрагивает в руке продавца, глаза разбегаются — который выбрать?

Страстная неделя нам не досталась, а досталась Апрельская Ферия-ярмарка, давно уже переставшая быть настоящей торговой ярмаркой. На Ферию приходят женщины в роскошных национальных платьях с глубокими вырезами, с воротниками и воланами, отделанными кружевом, с потайными кармашками у подола для кошелька и платочка; приходят, чтобы всю ночь танцевать с кавалерами. Кавалеры одеты менее роскошно — в джинсы и линялые футболки. А во времена Боткина они были одеты так: *“Коричневая куртка, вся ушитая арабесками из разноцветного бархата; синие по колена штаны в обтяжку с серебряными пуговицами вдоль швов, белые чулки и башмаки, покрытые высокими до колен штиблетами из желтоватой кожи, с узорчатым шитьём и кисточками, завязанные только сверху и снизу, так что чулки были видны, длинные рыцарские шпоры, шёлковый малиновый жилет со множеством висячих серебряных пуговиц; на шее красный шёлковый платок, концы которого продеты в золотое кольцо; на голове, по андалузскому обычаю, повязан пёстрый фуляр, концы которого висели сзади из-под низенькой андалузской шляпы”*! Теперь акцент переместился на одежду андалузок. Великолепные платья продавались везде, были выставлены во всех витринах, их тащили подмышкой для своих дам заботливые кавалеры.

В день открытия ярмарки мы шли в огромной толпе, целеустремлённо двигавшейся к специально отведённому для Ферии полю. Женщины были только в национальных платьях, и платья их были все

до единого много прекраснее всего, что было выставлено на витринах. *“Южная андалузка представляет собою самый совершенный тип женской артистической натуры. Может быть, вследствие этого здесь на женщин смотрят исключительно с артистической стороны”* (Боткин).

На территории ярмарки мы увидели пышные шатры, украшенные не хуже былых андалузцев. Многие севильцы арендуют эти шатры для себя и своих друзей. Днём посетители катаются в колясках, запряжённых нарядными лошадьми или ездят верхом, вечером — танцуют в шатрах.

День был, к несчастью, невыносимо жаркий — а ведь только что в Гранаде я ходила в свитере! Ничто меня не радовало — ни дети, с готовностью позирующие фотографу, ни взрослые женщины, которые поворачивались спиной к фотоаппарату, ни прекрасные амазонки на изящных кобылах, ни коляски с особо украшенными лошадьми, ни шатры с весёлой публикой. Мне хотелось сесть на землю и завывать от жары.

Вечером на танцы мы не пошли, потому что ни в один из шатров нас не пригласили, но зато мы ходили на представление фламенко, и я осталась им довольна.

Клуб фламенко находился при гостинице — это был ещё один внутренний двор с парусиновой крышей. Вернувшись с Ферии, я тоскливо посмотрела на вход в зал, понимая, что вот-вот набегут зрители, а места не нумерованные, но поплелась в нашу комнату. Когда мы спустились, внизу уже плескалось море людей. В отличие от Беллы Ахмадулиной я редко радуюсь тому, что *“в магазинах, в кино, на вокзалах я последняя в кассу стою, позади паренька удалого и старухи в пуховом платке”*: ведь позади паренька я нахожусь оттого, что он меня отпихнул, а позади старухи, оттого что я уступила ей место, не сообразив, что она мне ровесница. Вспомнилась очередь к врачу в университетской поликлинике, куда приходишь, запасаясь взятым в 8 утра номерком, а тебя не пускают в назначенное тебе время, становишься в конец, какие ещё номерки — ведь за ними надо в 8 утра приходить! И ты чувствуешь себя честной дурой. Или железнодорожная касса провинциального города, где я стою с 4 утра, первая и единственная, не зная, какое из трёх окошечек откроется, и к какому, стало быть, приклеиться, а к семи собирается небольшая толпа, и когда окошечко наконец открывается, я последняя и никому ничего не докажешь. В таких очередях зарождаются мысли, что ты тварь дрожащая, и иногда они получают развитие. Я вышла из дверей гостиницы

и не колеблясь поставила себя во главу очереди.

Залом служил передний двор гостиницы с брезентовым съёмным потолком, полностью его не закрывавшим. С трёх сторон поставлены были скамейки, а в центре сделана площадка для певца, для играющего на гитаре и двух танцоров. Танцоры были молодые, начинающие артисты. На танцовщице было надето не яркое, а тёмно-коричневое платье, что необычно, потому что юбка — полноправный участник представления, цветок, который то распускается, то складывает лепестки, повинаясь желанию танцовщицы. Ну что же, мы любим и чёрные розы. Коричневый цвет элегантен, и может быть он соответствовал народной традиции — тем временам, когда андалузцы ходили в тёмном.

Фламенко изобретён испанскими цыганами и исполняется под гитару и пение. Пение это, пока с ним не освоился, сильно берёт за душу, а может быть даже и за желудок. Боткин говорил, что *“к сожалению, испанцы плохие певцы и вовсе не отличаются голосами.... по улицам большей частью слышится только однообразный напев фанданго, который при дурном пенье в нос, свойственном андалузцам, походит на какую-то татарскую песню”*. (Возможно, сравнение с восточным напевом глубже, чем думал сам Боткин.) Нелегитимно высказался Боткин и о цыганских плясках: *“У цыган ола сделался самым циническим танцем”*. Боткину вторят другие путешественники, не жалея красок в описании фламенко и особенно напирая на его чувственность, страстность (или бесстыдство — в зависимости от эпохи и воспитания). Ричард Райт, прибывший из целомудренной Америки, писал, что фламенко это первобытная сексуальность, вознесённая до уровня оргиастической насыщенности (так прямо и писал), и добавлял, что присутствующие, скинувшись по рваному на представление, следили за ним с побледневшими лицами, себя не помня.

И тут вхожу я, в белом костюме, и в руке у меня гвоздь. И я выпускаю воздух из воздушного шарика фламенко. Я люблю фламенко, но неспособна от него опупеть. Вижу — чечётка, отбивают хорошо, каблучков не жалеют, ну и всё. То ли я растратила страсть на то, чтобы всех распахать и усесться в первый ряд, то ли исполнители плохие, то ли надо принять малаги перед спектаклем, а ещё лучше ректификата с клюквенным соком, который так искусно готовили в нашей лаборатории. Но не сложилось, ни в одном глазу, и я недоумеваю по поводу восторженных отзывов. В разные эпохи многие танцы по очереди объявлялись непристойными: сначала *“на галеры нас отправляли, потому что мы танцевали фанданго”*,

потом появился бесстыжий вальс, сгорали со стыда от аргентинского танго, а во времена моего детства шокировал развратный танец твист. Может дело в представлениях общества о том, что прилично, а что нет: например, арабы не могут себя контролировать при виде лица и волос женщины, а западные мужчины почему-то могут. Может дело во вкусах, и кто-нибудь и от гопака в экстазе? Представляете, что может сделать “Лебединое озеро” с настоящим любителем? Или дело в терминологии, и для кого-то “оргастическая насыщенность” означает “пир духа”; помню, “Литературная газета” толковала “экстаз” как “бывший таз”. Впрочем, все желающие могут составить собственное мнение о фламенко по замечательному фильму Карлоса Сауры “Кармен”.

В Севилье есть несколько небольших музеев, — это бывшие дома богатых людей, собиравших всевозможные коллекции. Смотреть их я отправилась из принципиальных соображений (раз дают, надо брать), но ожидая, что мне будет скучно — на основании прежнего опыта. В Америке я посетила несколько усадеб и пришла к выводу, что рассматривать чужие пожитки не интересно. Правда, я не очень-то много в своей жизни видела. Я никогда не была в музей-квартире Ильича, а может там как раз здорово: ведь некоторым так понравилось, что они даже бросились сочинять стихи *“о том, как вожде любимый наш скрывался от врагов”*.

В отношении севильских коллекций я ошиблась, я проявила ненужный пессимизм, я раскаиваюсь, и я всем рекомендую дом Пилата и особенно музей Лебрихи. Только не надо выходить из этих музеев с криками: “Это не Эрмитаж!” Это не Эрмитаж, не Севильский собор, и даже не музей-квартира короля Дона Педро Жестокого. Севильский собор, это, скажем, торт, а частные собрания это сахарная пудра или кремовые завитушки на торте. На частном собрании отпечатался вкус владельца — оно и эклектично, и однобоко. Положим, собор тоже эклектичен, но компенсирует тем, что в нём всё наивысшего качества, а у частного собирателя и вкусы попроще, и средств поменьше, и живёт он меньше собора, поэтому коллекционирует вещи, не особенно известные, иногда странные, иногда трогательно безвкусные, и некомплект не брезгает. Например, во времена Макиавелли рядовые римляне готовы были удовлетвориться мраморной ногой вместо целой статуи. Казалось бы — что такое нога? Тьфу! Но эта отдельно взятая нога, как крупный план в кино, фокусирует внимание, заставляет себя рассмотреть, домыслить идеально прекрасную статую.

Когда, пожив в Севилье, познакомившись с собором, Алькаса-

ром и картинной галерей, захочешь избытка впечатлений, захочешь подобрать забытые на блюде кремовые розочки, можно сходить в частное собрание. Начнём с “Дома Пилата”. Экскурсовод сразу же пояснил, что “Пилат в этом доме никогда не жил”. Этот дом был построен местным маркизом после возвращения из крестового похода, то есть является сильно отсроченным следствием событий, в которых Пилат принял такое горячее участие. У католиков приняты имитации крестного пути, на которых устроены остановки, соответствующие Страстям Господним, для того, чтобы верующие могли повторить путь Христа, помолиться, сосредоточиться и лучше понять сущность его подвига. Такой символический путь на Голгофу существовал некогда и на улицах Севильи, и остановка, посвящённая встрече Иисуса и Пилата, как раз находилась рядом с домом маркиза.

Дом Пилата занимает большую территорию, обнесённую высокой стеной. Сначала попадаешь на передний двор (купив, разумеется, билет), а потом и в сам дом, с типичной планировкой — двухэтажный, со внутренним двором. Двор просторный, но не огромный, в самый раз, с аркадой, со статуями на постаментах, с фонтаном посередине. На этом дворе полагается ждать экскурсии, которая начинается на втором этаже. Второй этаж — прелестный, с галерей под черепичной крышей. Старые дома Севильи построены так, что только сверху, и то не наверняка, увидишь небольшие соседские терраски с цветочными горшками, и вспомнишь о соседях, но заботливые строители сделали всё возможное, чтобы свести к минимуму контакт с окружающим миром. Это вам не доходный дом Петербурга, где самые лучшие квартиры смотрят на улицу. Нет, здесь перед тобой из окна вид на твой собственный двор; тебе хорошо, уютно; хулиганам из внешнего мира вход преграждает крепкая каменная стена с основательными кипарисовыми воротами.

В комнатах музея было много старой мебели и старинных портретов. Хозяйка дома была подругой самой королевы Изабеллы, и её потомки тоже были в фаворе при дворе, были богаты и с удовольствием коллекционировали мебель, фарфор и картины. Про некоторые из этих картин нам были рассказаны интересные анекдоты, и жаль было примкнувших к экскурсии французов; они были в отчаянии: ни бельмеса по-испански, ни бельмеса по-английски, как новый русский за границей.

У выхода из дома Пилата, у больших и красивых ворот торговали снедью, что-то вытаскивали из ящиков лотка и протягивали покупателям, и мне тоже захотелось этого всего, как когда-то мятых

мясных пирожков, хотя знаю, что это пища, вредная для здоровья. Между тем мимо проехала красивая коляска, запряжённая парой лошадей в сбруе с кистями.

Вторая вылазка была в дом графини Лебриха. В первый раз Лебриха обманула наши ожидания — музей, как и многие другие заведения Севильи, был закрыт после обеда по случаю Ферии. Пришлось придти ещё раз, с утра. Как и в доме Пилата, мы вначале оказались в подворотне, где продавали билеты. Грандиозная подворотня — целый зал со сводчатым потолком метра три с половиной высотой, — открывалась во внутренний двор с древним мозаичным полом, который Лебриха перевезла к себе домой из соседнего городка, спасая от уничтожения. Экскурсовода мы ждали долго и рассмотрели этот пол подробно, тем более, что подобные полы — редкость в других странах Европы. Такие полы неярких тонов, сложенные из аккуратно пригнанных плоских камушков, с изображениями людей в хитонах и тогах, сатиров, кентавров и морских животных в обрамлении геометрических узоров, были придуманы римлянами, и дольше всего мода на них продержалась в домах и церквях на Ближнем Востоке и в Испании, где эти полы изготавливали даже через 500 лет после падения империи.

В музее Лебрихи были старая мебель, фарфор, про которые экскурсовод рассказывал добросовестно и подробно. Менее подробно про графиню, хотя она-то может быть интереснее всего. Графиня была замечательной женщиной, звездой местного значения. Она писала стихи и эссе, со знанием дела занималась сохранением памятников старины и даже получила медаль от испанского правительства за искусствоведческие работы. Имя её происходит от небольшого городка Лебрихи под Кадисом.

“Ну, знаете, графиня ведь из Кадиса!”, — сказал экскурсовод, и все испанцы понимающе переглянулись. Я почувствовала себя обойдённой, невхожей в испанское общество, неспособной понимать его тонкости с полуслова. Я, например, из Петербурга, ну и что? Что конкретно можно сказать обо мне на основе этого факта? Чем я и моя коллекция посуды отличаются от таковых жителя Москвы или Вологды? Что там такое в Кадисе располагало к сохранению античных мозаик, архаичной мебели, антикварного фарфора? Надо бы съездить в этот Кадис, город Лебрихи и Де Фалья. Мало кто из путешественников по Испании не побывал в Кадисе, только такие лопухи, как я. Если кто-нибудь захочет повторить моё путешествие, непременно заезжайте ещё и в Кадис — самый древний город Иберии, основанный финикийцами. Пускай даже загадочная

душа Лебрихи останется неразгаданной, вы там себе купите замечательные кадисские марципановые хлебцы. Почти как залы готического дворца Дона Педро выглядела широкая парадная лестница в доме Лебрихи, покрытая по ступеням и на стенах синими узорчатыми изразцами. Понравилась нам и проходная комната на первом этаже, выложенная маленькими плитками с наивным рисунком — вроде того кафеля, которым в петровские времена облицовывали голландские печи.

Славное искусство изразцов, прекрасные примеры которого мы видели в Альгамбре, не погибло вместе с морисками, а продолжало развиваться, и теперь Севилью можно считать музеем керамических плиток под открытым небом. Из крупных плиток выложены сделанные на заказ вывески кафе и магазинов. Разноцветными плитками разнообразной формы и размеров выкладывают крыши церквей (вроде как у нашей петербургской мечети), стенки домов. Поднимаешь случайно голову и видишь изнанку балкона, на которую не пожалели замечательных изразцов, хотя казалось бы кто их увидит?

Есть даже “площадь Испании”, окружённая зданиями, напоминавшими мне башни Кремля, оставляющая в целом угрюмое впечатление, как явный образец торжествующего фашизма, но если вглядываться только в детали, покажется, что ты в фарфоровом магазине, и успокоишься. Найдёшь там и изразцовые панно с изображениями провинций Испании, и выложенные изразцами скамьи, и мостики, у которых даже перила из цветного кафеля.

Севильские изразцы называют “азулехи”, “лазурные”, потому что в них много яркого, бесстыдно-радостного синего цвета. Поскольку искусство азулех не угасло, испанцы замечательно подделывают старую керамику, — примером служит мошенничество, описанное в книге Луизины Хавермайер. Чета Хавермайеров, известные коллекционеры испанской живописи, приобрела целую комнату из изразцов, якобы из раскопок. Вы думаете, распознав подделку, они в досаде перебили эти изразцы? Ничего подобного, страшно радовались, что им досталась такая красота.

Но хватит топтаться на лестнице, поговорим теперь о садиках в домах Пилата и Лебрихи. Наряду с парадным внутренним двором в богатом доме должен быть и задний двор, или анфилада дворов, где разбит сад. Это пространство не такое уж большое, если сравнивать его с садами королевских дворцов, но и не маленькое. На тот случай, если кому-нибудь захочется устроить себе испанский домашний сад, я перечислю его основные особенности. Первая осо-

бенность — всё-таки много не посадишь, поэтому деревья выбирают тщательно и дополняют растительностью в горшках. Особенно подходят для небольшого садика кипарисы, занимающие минимальную площадь, и живучие апельсиновые деревья, которые растут с удовольствием не только в грунте, но и в кадках. Вторая особенность — двор окружён высокими стенами — это могут быть собственная ограда или глухая стенка соседнего дома, такого же нелюдимого и нелюбопытного к соседям, как и твой. Задача превратить их в каскады зелени с помощью лазающих растений и плетистых роз. Сад должен казаться морем цветов — опять выручают горшки, их легко заменить, когда герань отцвела. Низкие стенки внутри двора, на которых стоят горшки, надо выложить азулехами. Да, вот еще! Если удалось раздобыть бронзовую фигуру, желательно голую для гарантии её античности, смело водружайте её в фонтанчик посередине садика, выложенный туфом или старым разъеденным мрамором.

В саду Лебрихи мне улыбнулось счастье — я попробовала упавший с дерева апельсин. С первых дней путешествия я мучилась вопросом — есть ли смысл в этих апельсинах, созревающих повсеместно: и в городских скверах, и на внутренних двориках соборов, и на патио городских домов, просматривающихся сквозь решётки подворотен? Внешность у бесхозных апельсинов была прямо-таки кинематографическая — жёлтенькая кожица, оранжевая мякоть, белозубая улыбка... впрочем, тут я слишком увлеклась. Из того, что плод жёлтый, ещё не следует, что он вкусный. Помню апельсиновое деревце в американском ботаническом саду, усыпанное крошечными апельсинами — или плоды такого размера уже можно называть мандаринами? Так вот они, мерзавцы, оказались не только горькими, но и волосатыми! Лебрихин опыт показывает, что испанские апельсины удивительно вкусные и сладкие, и дураки испанцы, что их не подбирают, а оставляют гнить на клумбах. Но знаю, опасно делать выводы на основе только одной повторности: а вдруг Бог мне подарил единственный сладкий апельсин во всей Испании, снисходя к моему вожделению? Поэту Лоуренсу Ферлингетти апельсин, украденный в Альгамбре, показался кислым, как араб, которого похитили из Гранады.

Прогулки по Севилье оставили смешанное впечатление. Набережная и центр скорее нет, чем да. Дома в центре Севильи высокие, в стиле модерн, река Гвадалквивир — широкая, вроде Невы, набережные некрасивые — вроде как правый берег Невы. Мосты основательные, и тоже по-моему красотой не отличаются. Севилья — главный центр боя быков, и у берега реки для этой забавы постро-

ено огромное круглое здание, некрасивое, но полное романтических ассоциаций для каждого севильяно, а также для любителей оперы и читателей Мериме — именно здесь была убита небезызвестная Кармен.

Мы набрели на университет. Его главное здание — огромное, шикарное, со скульптурными украшениями, — принадлежало когда-то фабрике, той самой, где Кармен крутила сигары на коленке. Для того, чтобы выстроить такое помещение для сигарной фабрики, надо относиться к своему производству с огромным уважением. Во времена Гарри Франка университет всё ещё был табачной фабрикой, и его туда не пустили, потому что лето, жара, и работницы были не вполне одеты. Неугомонный Энрико Франко (так называли его друзья-севильяно) дождался конца смены, но Кармен не увидел, вместо неё вышла толпа немолодых работниц. Впрочем, может и увидал, но не узнал — на вкус Гарри андалузки красотой не отличались, но в них были *“живость, пикантность и здравый смысл”* (*“Что ещё мужчине нужно?”* — философски заметил Гарри).

О площади Испании на берегу Гвадалquivира я уже упоминала. Мне там стало тоскливо и страшновато, полезли нехорошие ассоциации со временем, которым, говорят, гордится 85 процентов русских; полезли из какого-то забытого уголка памяти, оттуда же, где запрятаны могучие, пышно украшенные фонтаны ВДНХ с изобилием колосьев и снопов, гигантская земляная ваза из цветов, посаженных в проволочные ячеи, которую год за годом возводили в Парке Победы на месте бывшего памятника Сталину, стекляннно-мраморные колонны станции метро Нарвская: здоровый дух патриотизма на любой почве порождает сходную архитектуру.

На площади паслась жидкая толщёнка гуляющих; дамы по случаю Ферии были в мантильях и воланистых юбках, шла распродажа расписных традиционных вееров, которые любая испанка, даже специалист по молекулярной биологии, умеет моментально раскрывать изящным движением кисти. Площадь необъятная, так что на ней и настоящие толпы затеряются. Облупленная — только централизованному фашистскому правительству по плечу содержать такое в порядке. Крошащаяся мостовая, входы, перегороженные рогатками... Но керамические мосты над пересохшими канавками в своём роде чудо.

Наша гостиница находилась в квартале Санта Крус, самом древнем, бывшем еврейском, сохранившим особенности мусульманского города. Улочки в нём кривые и такие узкие, что пьяному некуда упасть. Квартал нанизан на ряд небольших площадей, окружён-

ных маленькими белыми домиками: в других районах белый цвет не встречается, а Санта-Крус белый, как Гранада. У каждого домика есть патио. Самое красивое патио показывают за деньги. Денег мне на такие зрелища не жалко, но узнала я об этом патио слишком поздно, и посмотреть его не успела.

День, в который я рассматривала квартал Санта Крус, был сереньким, да и вообще клонился к вечеру, и побелка не слепила глаза. Было тихо и не людно. Бродишь, случайно возвращаешься туда, где был прежде, потом находишь новый узенький проход, за ним тупичок с калиткой во двор, пустая площадь с обелиском или колонной, увенчанной крестом, на ней сувенирная лавка, и в ней скучающий продавец. Вот отворяется дверь узкого трёхэтажного дома на этой площади, и выходит маленький мальчик в строгом чёрном костюме и его нарядная стройная мама в традиционном платье. Иногда Санта-Крус неожиданно кончается, и ты выскакиваешь на какую-нибудь широкую улицу, пугаясь и моргая глазами, отвыкшими от света, и торопишься вернуться обратно в привычный уже лабиринт. Но рано или поздно Санта Крус исчерпан — он ведь маленький, в нём уже не остаётся ничего потаённого, и приходится выйти в большой мир, на соседние улицы.

Вышел из района Санта-Крус, и все фасады сделались цветными. Улицы много шире санта-крусовых (шириной в машину, а то и полторы), но всё равно по вредной привычке средневекового города изгибаются и наталкиваются друг на друга под косыми углами. Известные, указанные в путеводителях церкви трудно разглядеть, трудно найти нужную точку в сплетении улиц — видны то башня с травой на кровле, то портал с барельефом на тимпане, но никак не увидеть всю церковь целиком. Иногда случайно набредёшь на площадь, где боком встроена эта церковь, а рядом, разумеется, пивная, и официант в длинном переднике ждёт посетителей в её дверном проёме.

Когда ты одна, и прохожие не имеют к тебе ни малейшего отношения, чувства обостряются, всё начинает удивлять и радовать — даже причудливые разводы на неровных каменных плитах тротуара, изразцы на стенах и под балконами, резные ставни окон, внутренние дворики, в которые можно заглянуть сквозь решётку, как бедный родственник, поглядеть на со вкусом расставленные горшки с деревьями и цветами, думая — а как-то там дома корневища моих многолетников, сладко спящие в пенопластовых ящиках на вашингтонском весеннем холодке? *“Эти дворы составляют щёгольство севильян”*, — писал Боткин. *“Дверь нарочно дела-*

ется большая, чтоб сквозь её решётку её двор был весь виден с улицы. Его украшают как только возможно: тут и картины, и фонтаны, и зеркала, и цветы, и деревья”. Ну, значит не стыдно подглядывать.

Мне ещё надо было где-то раздобыть чай и бутерброды. С чаем обошлось просто — в вестибюле гостиницы нашёлся титан с горячей водой и пакетики с заваркой. Ради бутерброда я решилась разыграть непроверенную комбинацию. Я зашла в маленькую лавку, где продавали хлеб и ветчины и осведомилась — уж как, не спрашивайте, — нельзя ли получить один кусок ветчины и одну булочку. Оказалось, можно, и булочку даже разрезали пополам.

В Севилье жили разные люди, в том числе Дон Жуан, Мурильо и Сурбаран. Здесь находится вторая по значению после Прадо картинная галерея Испании. Я пошла бы в неё, если бы мы остались ещё на один день. И ещё пошла бы в музей при монастыре Святой Паулы с картинами Сурбарана. Мурильо и Сурбаран... знакомство с ними тоже началось с Эрмитажа, где я бывала и одна, и с моим дядей. Дядя Ваня, я хорошо помню наши походы в Эрмитаж. Мне было интересно с Вами, современником гражданской войны и блокады, а Вам со мной, молодой женщиной.

“Ну что, ангел мой, — говорил дядя Ваня, — встречаемся у «мужика со змеям»?” (Я не буду говорить, кто был тот мраморный мужик, это наш петербургский секрет). Мы поднимались по Иорданской лестнице, шли к любимым картинам дяди Вани и тихо беседовали о том, как нам хочется другой жизни. Самой любимой картиной дяди Вани была Мадонна Мурильо. Может быть она и уступала в мудрости Сикстинской мадонне, но зато она была такой юной и счастливой. В ней не было ни тени страдания, и царство её было не от мира сего. Где-то в коридорчике пряталась и единственная картина Сурбарана, монах с черепом, поразившая меня, как исландские саги, своей лаконичностью. (Минимализм вовсе не лапидарен, а наоборот, потому что подтекст подставляешь свой, и чего только не откопаешь в собственной говорливой душе.)

Ещё бы я пошла посмотреть вал старой Севильи, где *“друг мой живёт Лиллас-Пастья. Я там пропляшу сегидиль, выпью там мансанилья!”* (Отдающей кожаным бурдюком?) В Севилье были шикарные крепостные стены — они видны и на гербе Кастилии, и на барельефах в соборе — сберечь бы их для туристов, но такие сооружения обречены на разрушение. Как только в них отпадает необходимость, так и начинает всё обваливаться, не без помощи доброхотов. Стены ведь чинить нужно, да какое там чинить, если

они являются таким соблазнительным источником кирпича, и вот *расталили ... по камушку, по кирпичику.*

Наш отъезд из Севильи устроился наилучшим образом, хотя мы чуть не опоздали на поезд — заказанное такси всё никак не хотело приходить. Выручила хозяйка гостиницы. Она не дотягивала до настоящей испанки, потому что не было у неё ни высокого гребня, ни мантильи, ни розы; была она современная под стать гостинице, в брючном костюме, с короткой стрижкой, в очках, и пускай; зато самая добрая из хозяек: выбегала ради нас на улицу, горячилась, кричала в сотовый телефон, и когда наступил счастливый конец, сказала на прощание извиняющимся тоном: “Ну что за люди, — пока не наорёшь, ничего не делают”.







Сеговия

В пятницу приходишь домой в состоянии радостного ожидания, в субботу наслаждаешься каждой минутой свободы, но в воскресенье наступает горькое пробуждение. Неужели? Дык ну ёлы-палы! Да, да, да, — подтверждает внутренний хронометр, — скоро, неотвратно, нахлынут рабские будни. Так и в путешествии момент прощания наступает заблаговременно, и даже как-то хочется скомкать последние дни; лучше уж убежать, чем каждый день думать о грядущей смерти каникул. Глупо — ведь впереди ещё Мадрид и Сеговия. Не нужно портить себе праздник, даже если конец заранее известен.

Из Севильи мы на скоростном поезде вернулись в Мадрид. Вокруг было совсем не то, что мы видели при поездке в Гранаду. Это была другая страна. Не подумайте, что я порю чушь, что от Б до А ближе, чем от А до Б, а *патагонцы ростом пять футов, когда стоят, и шесть, когда сидят*. Мы ведь ехали в Мадрид не из Гранады, а из Севильи, и пейзаж имел право быть другим. Я не помню, как поезд пересёк Сьерра-Морену, — я заснула, убаюканная скукой равнины за окном.

А когда мы приехали, мы проснулись, пересели на такси, и подъехали к красивому высокому дому с потолками нормальной высоты. Любо-дорого было смотреть на его фасад, так напоминавший приличные европейские дома начала 20 века. На первом этаже была

фламеночная, где в полутьме выплясывала целая бригада артистов этого жанра; впрочем, не знаю, может правильно: “фламеносерия”, ведь у испанцев куда не глянь, везде “серия” — тапасерия, сервесерия, пупусерия, алькасерия. Над “серией” находилось несколько разных гостиниц, одна над другой. К воротам нашей гостиницы мы подкатили на старинном лифте, поднимавшемся с видимым усилием, обижаясь на клиентов, как старик-продавец, которого заставили снимать коробку с верхней полки.

Наш отель “Триана” был из крупных — он занимал два этажа, соединённых внутренней лестницей. Мы были так запуганы удалыми гранадино на мотоциклетах без глушителей, нам так хотелось покоя, что мы запросили самую тихую комнату: нам пожалуйста с окнами на двор, ни в коем случае не на улицу, на случай, если не дай бог ночью начнут вываливаться из фламеносерии фанаты, запоют гадко, как умеют только испанцы, и запляшут цинический танец “ола”. Внутренний двор походил не на традиционные восточные дворики предыдущих гостиниц, а на родной нам петербургский, и всячески старался по ширине не переплюнуть обычный колодец. Но в этом колодце никаких водяных не было, никто не выбегал на пожарные лестницы с криком: “Здравствуй, утро!” или “Милиция!”, никто не выяснял отношений с женой, не врубал на полную мощность приёмник и не ставил его на подоконник, чтобы поделиться своей радостью с соседями, — словом, за бортом был рай. Рай был и внутри, хотя и без холодильника.

Мы немедленно отправились в гигантский универмаг, не посрамивший даже такой бастион европейской культуры, коим является Мадрид, зашли в его столовую и впервые за все эти дни поели по-привычному, без присосок осьминогов, без сырокопчёной пересолённой ветчины, без сухих большеглазых мальков на закуску. И кефир там продавали.

Житьё в гостинице “Триана” научило меня тому, что коридорные бывают трёх типов — добрые, злые и не понимающие по-английски. Не понимающих стоило бы по-ленински бить по голове за профнепригодность, но они были такие приятные, и так мило улыбались, что рука не поднималась. Злые обращались со мной как пикадоры с быком, которым убивать быка не позволено, а хочется. А добрый — он был один, и присутствовал при нашем приезде и отъезде. Без него мы может быть не добрались до Сеговии, а если и добрались, то только к вечеру. В Сеговию нужно было ехать на автобусе, и до автобусного вокзала мы поехали бы на метро через весь Мадрид с юга на север, а потом обратно по другой ветке с севера на юг, если

бы он нам не объяснил, что между этими ветками есть шунт. И мы оказались у вокзала очень быстро.

Беда в том, что никакого автобусного вокзала вокруг не было. Когда я догадалась, что мы его никогда не найдём, потому что прохожие не говорят ни по-русски, ни по-английски, мне захотелось сесть на пыльную мостовую возле перекопанной стройплощадки и заплакать взахлёб, оттого, что я ничего не умею, ничего не могу и всё время попадаю в дурацкие истории. Так бы я и сделала, если бы я была одна. Но в компании изображать младенца неприлично. Пришлось повнимательнее взглянуть на карту, которую нам дал добрый коридорный — на ней стояла карандашная отметка над жилым домом, ну и что делать в таком случае? Утопающий хватается за соломинку, мы подошли к многоэтажному дому и увидели, что в его брюхе скрылся автобус!

Всегда хочется оправдать собственную бестолковость, и может быть я и сгущаю краски, но ей-богу это было неожиданно. Представьте, вы подходите к кафе “Лягушатник” на Невском и вдруг замечаете рядом неприметную подворотню — вход на известный только посвященным автобусный вокзал. Ну ладно, не важно, главное, мы его нашли, вошли в ворота, увидели два автобуса, двух небрежно одетых мадриленьо, которые никак не могли быть ни водителями, ни кондукторами, и сбоку мрачную грязную лестницу, которая, судя по недвусмысленной толстой стрелке, вела к билетным кассам. Билет мы купили, вернулись наверх к автобусам. Время подходит, никого не видать, что нас не беспокоит, потому что привыкли уже, что автобус подают минут за пять до отправки.

Тут к нам приблизились мадриленьо, *пролопотали что-то на своём диалекте* (это я ворую у Зоценко) и скрылись в тёмном колюще лестницы. Мы решили на всякий случай расследовать, нет ли там внизу чего-нибудь ещё, кроме касс. Кассир мне, собственно, намекал, что мол надо идти ещё ниже, но мне это показалось так нелепо, что я ему не поверила, я подумала, что он просто так что-то бормочет, от скуки. Оказывается, вниз от кассы идёт грязный коридорчик, вроде как в сортир, но на самом деле на перрон. Там-то и стояли два автобуса, готовые гуськом ехать в Сеговию. Мы успешно чудом, благодаря благородству местных жителей. Хорошо, что места нумерованные, и их никто не занял.

Если, скажем, переехать из современной Костромы в Тулу, то будет ли заметна разница между этими двумя мегаполисами? Не знаю, потому что туда я ещё не заезжала, но если перебраться из Толедо в Сеговию — будет. Оба города — небольшие крепости на

высоком холме над рекой. Оба были основаны римлянами. Войдя в крепостные ворота, сразу понимаешь, что Сеговия другая, гораздо просторнее Толедо — улицы шире и прямее, площади больше, дома ниже. Это не мавританская планировка, может быть остатки римской? Главный отпечаток на Сеговию отложила католическая культура Кастилии времён реконкисты. Знаменитые реконкистадоры, Изабелла и Фердинанд, венчались именно в Сеговии, и здесь же муниципалитет короновал Изабеллу короной Кастилии. После этого Изабелле оставалось только завоевать своё королевство. В Сеговии похоронен Хуан де ла Крус, монах, философ и поэт, друг Терезы Авильской. Авила, где родилась Тереза, находится неподалёку.

Для русского человека, особенно не видевшего Понт Дю Гар, самым удивительным покажется в Сеговии римский акведук, построенный во времена Траяна. Гранитные блоки арок акведука держатся вместе сами собой, сложенные, как детские кубики, без раствора, но кубики быстро валятся на пол под рыдания малолетних архитекторов, а акведук продержался две тысячи лет и до сих пор служит — по его хребту течёт вода, только уже не по каменному жёлобу, а по трубе. Да и как ещё без нечеловеческих затрат энергии можно подать воду в горную крепость на скале?

Непонятно, как удалось сложить многокилометровую узенькую стенку из двух ярусов арок так, чтобы ни один камушек не пошатнулся. Накренись одно звено, и оно потащило бы за собой и повалило весь акведук. Может они, рабы там, или колоны, или добровольцы римского субботника, строили наугад? Клали и клали камни, а как только блоки начинали сыпаться, и со стороны кричали: “Тикай, ребята!”, — строители разбегались; потом начинали снова, лазали по стенкам с грузиками на верёвке, потому что как же иначе проверять отвесы, и каждый раз удавалось построить повыше и повыше. Трудно представить, как можно набело, с первого раза построить длинный многоэтажный акведук, или готический собор, даже если они и не первые в мире.

Арки акведука это колоссальная помощь начинающему фотографу: рамы, в которых пейзажи меняются в зависимости от угла зрения; все композиции решены за тебя. Вначале мы оказались на маленькой площади у подножия акведука; арки вздымались перед нами на высоту четырёхэтажного дома, обрамляя небо. Поднимаясь вдоль акведука по многоступенчатой лестнице, сначала мы замечали только толстые гранитные блоки, удивлялись тому, как их удалось сложить так аккуратно и красиво, но потом перестали об-

ращать внимание на кладку, потому что в рамках арок возникли поселения из долины, выстроенные внизу, у подножия стен старой Сеговии.

Хотя видеть и особенно фотографировать монастыри, садики и домики романтичнее через пролёты арок акведука, но простор предгорий Гуадаррамы сильнее ощущается со смотровых площадок города и городского замка. Этих площадок много, и оттуда можно углядеть сосновые рощи предгорий, снежные верхушки горной цепи, дороги, убегающие вдаль по безлесному плато среди коричневой земли и выгоревшей до рыжины травы, дома с красными крышами, монастыри: всё почти такое же, как тогда, когда с крепостных стен смотрела на Кастилию юная Изабелла в предчувствии своей великой судьбы.

От замка видна река внизу, и вьющаяся вокруг Сеговии узкая дорога, по которой я непременно прошла бы, останься я ещё на один день. Дорогу эту особо рекомендуют путеводители, потому что якобы снизу самые лучшие виды и на Сеговию, и на её замок, с нижней точки напоминающий Диснейленд, и неспроста, потому что именно этот замок был использован Диснеем в качестве прототипа. И зачем только Дисней протянул свои мультфильмовы ручонки к замку Сеговии: теперь из-за этого высоченные круглые башни, увенчанные конусами серебристо-серых крыш, кажутся ненастоящими, бутафорскими.

Зато глядя вниз с крепостной стены, видишь не башни замка Золушки, а древности, не запачканные массовой культурой, как например странную двенадцатигранную церковь Вера Крус (Истинный крест), построенную тамплиерами, о которых мы слышаны со времён макулатурного Дрюона, а сейчас принадлежащую ордену Мальтийского креста. В ней есть, говорят, каменный стол, на который рыцари-монахи складывали оружие перед службой.

Гуляя по той же дорожке, я бы зашла ещё в несколько небольших монастырей, стоящих у стен Сеговии — в монастыре Сан Антонио Дель Реал, переделанном из королевского дворца, изголодавшиеся по мудехарству ценители искусства могут найти изумительные кедровые потолки с узорами “наранха” (помните: как поперечное сечение апельсина?) и замечательный резной алтарь; в монастыре Эль Паррал есть иконостас 16 века, объявленный национальным сокровищем. Словом, посещение всех этих монастырей, в каждом из которых по две-три ценнейшие вещи, и не более того, так же изысканно, как неспешное откусывание кончиков листьев артишока.

Утопая в охалке обкусанных листьев, задумаешься, а стоило ли

трудиться? Стоит ли тащиться так далеко, чтобы увидеть единственную статую, церковь или того менее: алтарь в этой церкви? Позвольте речь в защиту артишока. Действительно, существует лишь несколько архитектурных стилей, так же, как и у художника все картины похожи, и все китайцы на одно лицо, и если ты видел один алтарь барокко, то ты видел их все. Стало быть, если ты в душе неоплатоник и хочешь обобщений, хочешь познакомиться со стилем как с явлением, или с народом как с этническим типом, одной типичной штуки, находящейся в легко достигаемом месте, достаточно.

С другой стороны, ведь в течение жизни мы находим удовольствие в общении с разными людьми, хотя с возрастом всё чаще посещает гнусенькая мыслишка о том, что все люди одинаковы. Одинаковы, да не совсем. Произведения искусства, созданные этими людьми, тоже неодинаковы, хотя и носят на себе гораздо больший, чем хотелось бы их авторам, отпечаток эпохи и стиля. Если тебе понравился барокко, ты захочешь узнать о нём побольше. Когда ты видишь только одну вещь, и её ничто не заслоняет, и спешить не надо — вот она, конечная цель путешествия, — ты эту вещь можешь как следует разглядеть и по-настоящему увидеть. Потратив время на подробное знакомство, ты приобретаешь нового друга. В придачу остаётся воспоминание о том, как долго пришлось ехать, и какие смешные приключения случились по дороге, и как потом ты сидел под деревом, ел бутерброд, запивал перестоявшим чаем и смотрел на церковь, вспоминая только что увиденный алтарь. На фоне завалов осмотренного мельком и позабытого этот кусок жизни из памяти не сотрётся.

В замке проходила жизнь многих поколений испанских королей с 12 века, а до этого на месте замка существовали другие крепости — все оборонные ключевые позиции были в Испании застроены со времён кельтов и финикийцев. Жизнь в замке имеет и негативные стороны, о коих свидетельствует ужасная судьба Дона Педро, который свалился с крепостной стены, выскользнув из рук кормилицы и, естественно, разбился в лепешку. Впоследствии замок передали кадетам военного училища; случился пожар, погибли исключительные художественные коллекции (небось, кадеты курили под одеялом). Теперь внутри кое-что восстановлено, близко к тексту: кое-какая мебель, троны, сундуки, королевская кровать с балдахином, необходимым при тогдашней скученности. На стенах висят картины, которые были сюда привезены после реставрации замка. Запомнила одну — коронация Изабеллы Католической. Темно в комнате, сама картина тёмная, и только в дверях собо-

ра белым лучом Изабелла: начинается её взрослая жизнь. Красив алтарь в королевской часовне.

Деревянные потолки расписаны тёмными красками и золотом. Впрочем, были ли краски тёмными 500 лет назад — не поручусь, не исключено, что у владельцев замка было больше радости жизни, и они не стремились к созданию романтического средневекового антуража, а наоборот старались раскрасить всё поярче. Говорят, что и гобелены, которые мне кажутся застиранными половыми тряпками, когда-то сияли красками и ни в чём не уступали живописи.

Мы попали в зал с доспехами и долго стояли среди полых металлических рыцарей и резвящихся школьников, не решаясь выйти на смотровую площадку под струи надоедного дождя, боялись за здоровье фотоаппаратов, которые воду не любят. Но, наконец, дождь почти перестал; мы вышли наружу. Со смотровой площадки замка видно далеко и низко — вдали долина с полями и небольшими поселениями, а внизу, на нижней площадке замка — регулярный сад, который при взгляде сверху превращается в упорядоченную сетку зеленых квадратов.

Выходя из замка, оглянулись на донжон, или надвратную башню замка, облицованную плитками с повторяющимся узором. Такая плитка часто встречается на зданиях Сеговии, как мусульманский пламенный привет, и даже современные здания благодаря ей приобретают оригинальность.

День этот был переменчивым. Полдня шёл дождь, и над высокими башнями замка плыли эффектные тучи. А когда мы из замка вышли, вдруг появилось яркое солнце, башни изменили цвет, силуэт замка четко проступил на фоне чистого неба. Поэтому впечатлений о замке, зданиях и улицах, по которым туда — под дождём, а обратно при солнце, набралось как будто за два дня.

По значительности в городском пейзаже с замком соперничает громадный собор. Сеговийский собор приподнимается над городом, как будто его потянули за купол, выдернули из земли, и вслед за ним, как клубок корней, вылезла вся Сеговия. Это последний собор в Испании, выстроенный по готическому образцу, казавшемуся старомодным уже при закладке собора. Собор красив, строг, гораздо менее эклектичен, чем соборы Андалузии, не зарос ракушками пристроек, и заполнен картинами замечательных испанских художников, хорошо известных в своей стране, но неизвестных мне. Как во многих соборах до этого, запомнился внутренний двор с красивыми переплётками окон, может быть потому, что старинные колодцы и апельсиновые деревья, особенно под мелким дождём, приводят

меня в редкое состояние равновесия, покоя и примирения с действительностью. Галереи двора древнее самого собора — их перенесли к собору от старой церкви.

Перед собором находится обширная красивая площадь, которая долгое время носила ужасное имя Франко. С площади видны апсиды собора, кровля которых оплетена нежным кружевом аркбутапов. Собор, и площадь перед ним, если их рассмотреть в пасмурный день, розовые, а под солнцем жёлтые.

В центре города есть другая площадь, Св. Мартина, расположенная на двух уровнях. На верхней площадке изящный старинный фонтан, а на нижней — фигура со знаменем: памятник герою Сеговии Хуану Браво (Смелому), который не побоялся восстать против императора, не говорившего по-испански, и засилья его фламандцев. Хуан Браво пытался освободить и вернуть на трон королеву Хуану. Бунт подавили, Хуана казнили, но Карлу пришлось-таки выучить испанский, хотя лучше испанцам от этого не стало. Казнённого Хуана Браво отпевали в церкви Тамплиеров. Ему повезло — после него хоть памятник остался, а сколько в этом восстании погело неназванных, забытых, не утоливших своего отчаяния.

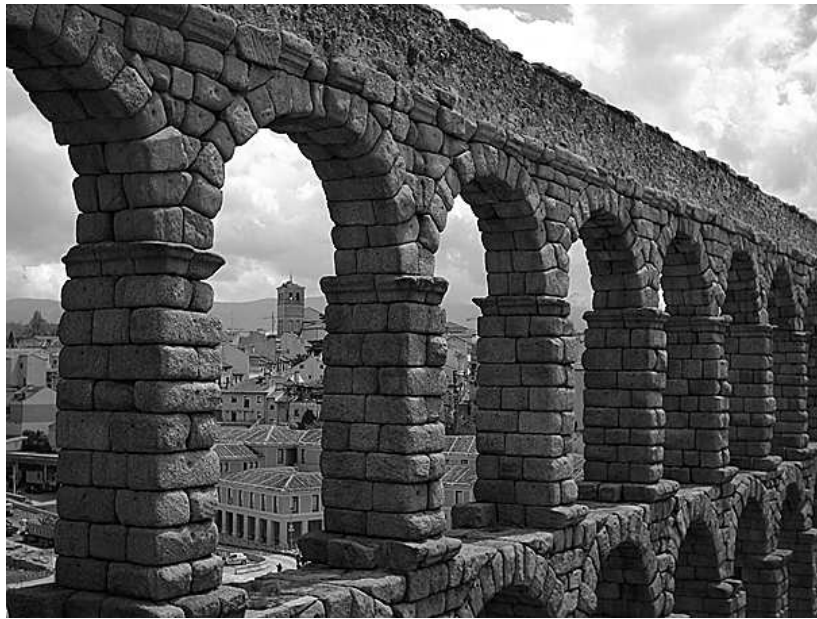
На улицах Сеговии пёстрое смешение стилей — среди старых домов 15–17 века, с толстыми гладкими стенами и узенькими окнами, покажется то кирпичный бочок монастыря со вделанными в него резными плитами, то романская церковь, то дворец какой-нибудь с кружевом мавританских узоров, с невысокой башней. Башни в Сеговии сточены, как старые коренные зубы; случилось это после победы католических королей над местными феодалами. На башнях гнездятся аисты.

В городе есть старинная синагога, которая, как и все испанские синагоги, заслуживает визита, но мы поленились её осмотреть, насмотревшись на восточные узоры в Андалузии. Ещё есть множество церквей, выполненных в романском стиле, невысокие, с небольшими окнами, соразмерные тихому городу и его неспешной жизни. Многие из них построены на фундаментах древних мозарабских церквей.

Если бы я осталась ещё на один день, то пошла бы в церковь Сан Хусто, где были обнаружены барельефы и росписи 12 века в римском стиле. Интересно было бы зайти в монастырь Кармелитас Дескальцос, где похоронен Св. Хуан де ла Крус. Но время, отведённое нами на Сеговию, кончилось, и мы вернулись к автобусному вокзалу, спустившись по лестнице вдоль акведука, и уехали из Сеговии светлым вечером того же дня. Ржавая земля вдруг превратилась в зелёные пастбища, по небу побежали облака, и заблестели,

зазолотились под закатным солнцем. Небо становилось всё занятнее, солнце всё слабее... А ведь скорее всего я никогда уже больше не увижу Сеговию.







Мадрид

Мадрид оказался столицей так же случайно, как и Петербург, прихотью и волей государя, в данном случае Филиппа Второго. Роль “Порфиноносной вдовы” незаслуженно выпала Толедо, которому казалось бы все карты в руки, чтобы стать столицей объединённого королевства — и вестготская древность, и престол примаса Испании. Но не понравился Толедо Филиппу кривыми улицами, засильем духовенства, а может и тем, что отнял жизнь у его любимой молодой жены — королевы Елизаветы.

Итак, с 1561 года Мадрид — столица Испании. Да-а, давно это было. Тогда Мадрид был крошечным городишкой с извилистыми улицами, окружённым садами (фиги, черешни, миндаль, яблоки, сливы, груши, — всё домашнее) и пастбищами, из-за которых мадриленью люто спорили с Сеговией. Сегодня Мадрид — это оживленный мегаполис с крупными домами в стиле барокко и модерна (готики и платереско почти не осталось), окруженный уже не садами, а погаными пустырями, потому что сады-то орошать надо, а кто же теперь это умеет? Да и яблочки у автострады выращивать захочет разве что мачеха Белоснежки.

Первые мои впечатления о Мадриде были из окна такси и экскурсионного автобуса. Всем, кто ездил в чужие города с праздной целью развлечься, знаком этот эффект, когда всё увиденное не привязано ещё к карте, нанизано на длинную линию бесконечной дороги. Потом думаешь — а где же всё это было, о чём эти фантасти-

ческие воспоминания, как из них смонтировать реальный город? Какими завитками завьётся дорога, ложась на карту?

На следующий день Мадрид я осматривала одна, пешком. В незнакомом городе нет зацепок памяти, ничто не отвлекает от погружения в его мир. У бесцельно блуждающего по безымянным улицам туриста рождается феерическое ощущение отстранённости. Драгоценны эти минуты первой встречи, в этот момент раскрывается душа города, а может быть и собственная. В родном городе такое чувство новизны, свежести восприятия возникает только при опьянении или нервическом возбуждении. Это известный эффект, им пользуются писатели, намеренно не называя улицы хорошо всем известного города, и тем самым подчёркивая выпадение героя из времени: Париж Жака Реда, Петербург Достоевского это города, лишённые прошлого, заново рождённые в сознании, и их созерцание сродни тем болезненным моментам, когда комната кажется чужой, а слова непонятными. Иные писатели наоборот погружают не героев, а нас, читателей, в новую обстановку, превращая Севастополь в Зурбаган, заставляя нас заново увлечься знакомым зрелищем. Нам же самим дистилляции родных городов приходят во снах, приоткрывая потаённые представления о них.

Итак, я одна, и мне одной отдан Мадрид на разграбление. День был неудачный для музеев, в воскресенье все они открывались только на полдня; я решила, что надо просто посмотреть старый Мадрид, не теряя времени на очереди.

Ходить по Мадриду трудно. Весь Мадрид изогнут под углами, каскадами улиц по крутым откосам спадает к Мансанаресу с возвышенности, прорезанной оврагами. То смотришь сверху, с моста на купола церквей, то снизу зришь на холм с египетским храмом (подарок, не трофей!).

Названия улиц и площадей Мадрида написаны на керамических панно и окружены рисунками, но какими именно, сказать я не могу: память подвела, как всегда, а фотографий нету, потому что мой фотоаппарат вдруг отказался включаться. С грустью смотрела я на металлический трупик моего верного спутника, которого я уже привыкла считать другом. С кем же мы будем вспоминать Мадрид, перебирать фотографии, спрашивать: “А помнишь?” С потерей аппарата я почувствовала острое одиночество. Но на самом деле я была не одна, со мной слонялись, как всегда, и Боткин, и Гарри Франк. Гарри, кудрявый, растрёпанный, на клетчатой рубашке не хватает пуговицы, ботинки — те совсем развалились, в последний раз их чинили в Толедо. Уж он пропишет потом в своей книжон-

ке про немолодую даму, которая липла к нему в Мадриде! Боткин, ухоженный, в дорогих джинсах, водолазке, и носки у него не пере-кручены. Зыркают глазами — куда бы от меня сбежать. Впрочем, всё не так. Оба они уже дряхлые старички, одному сто, другому сто пятьдесят, и смертельно рады, что кто-то захотел перечитать их полузабытые книжки.

От отеля “Триана” наклонные улицы привели нас к Пуэрта дель Соль, главной площади Мадрида. Между “Трианой” и площадью принято ни к чему не обязывающее поведение, некоторые даже сидят с собаками на мостовой и сильно ссорятся. Машины ездят, но почти незаметно — их забивают толпы людей. Гарри Франк когда-то пришёл к Пуэрта Дель Соль по улице Толедо, перейдя через Толедский мост, самый красивый мост Мадрида. (О, этот Пуэнто де Толедо, сложенный из мощных гранитных блоков и увенчанный двумя причудливыми арками в стиле самого что ни на есть мудехарского рококо-коко!) Боткин вспомнил, как в былые годы на этой площади происходили народные волнения: *“Площадь Пуэрта Дель Соль занята солдатами и артиллерией. Толпы народа, показавшиеся в вечера на Пуэрта Дель Соль с толстыми палками, вытеснены в окрестные улицы”*. Солдаты вот-вот начнут стрелять, а в это время по площади шлёпает некто из деревни в неизменном испанском плаще, без которого испанцу, как без штанов, нельзя показаться на улице, и просит у командира прикурить. Все ждут, пока крестьянин прикурит, — вежливые. Сегодня площадь тоже была занята народищем, и от обилия себе подобных во мне закипала тихая злоба и раздражение.

В центре Пуэрта Дель Соль “Пуэрты” уже давно нет, вместо неё стоит памятник королю Карлу III, “лучшему мэру Мадрида”, который любовно украшал столицу в течение нескольких десятилетий. На площадь выходит фасад мадридского “Большого дома”, который, в отличие от нашего, плохо хранил свои тайны — арестантам иногда удавалось выбрасываться из его окон.

Корни гнусного фашистского режима уходят в переворот 1923 года, а может быть и ещё глубже, в начало 20 века, когда королём Испании стал Альфонсо Тринадцатый. За долгое царствование человеку этому удалось сыграть роль и Александра Второго, и Александра Третьего, и Николая Второго (к счастью, не до конца: Альфонсо умер в изгнании своею смертью). Завершилось фашизмом, но начиналось большими надеждами. Мадрид до гражданской войны был культурным городом под властью просвещённого и либерально-го монарха. Между элитарным метрополисом и дикой деревней всё

углублялась пропасть: 30 процентов населения неграмотные, а на другом полюсе общества целое созвездие великолепных писателей и мыслителей.

На изломе истории всегда происходит творческий взлёт, ритм жизни ускоряется, общество охвачено непонятным томлением, из которого рождается чудо — Петербург Серебряного века, или предреволюционный Мадрид. В Мадриде возникло удивительное заведение, возможное только в стране, стоящей на пороге крупной перестройки: “Резиденция де Эстудиянтес”. Её аналог — Царскосельский лицей, плод воображения Александра Первого. (Только один выпуск и был олицетворением его мечты о всесторонне образованных людях, но зато какие люди: Пушкин, Горчаков, да и остальные не подкачали...) Основатели Резиденции перебрасывали мосты между физиками и лириками, гуманитариями и студентами технических вузов, поселяя их вместе, создавая все условия для общения. Какие диспуты, какие концерты, какие лекции проходили в Резиденции! Лекторами были Мария Кюри, Альберт Эйнштейн, Уэллс, Пол Валери, Луи Арагон; слушателями — Лорка, Бунюэль, Дали, и масса других имён, которые много говорят испанцам, но нам, увы, ничего. (А им, испанцам, говорят что-нибудь имена Юрия Анненкова, Добужинского, Георгия Иванова?) Бунюэль снимает, Дали рисует, Лорка пишет. А может быть наоборот (Лорка выставлял свои картины), главное, каждый делает, что хочет, и получается хорошо.

К сожалению, Альфонсо был ни рыба, ни мясо. То в одну крайность его кидало, то в другую. То он проводил половинчатые реформы, которые народу не понравились и популярности королю не придали, то рабочих расстреливал. Вдруг поддержал диктатора Примо де Ривейра. При Примо де Ривейра суп общественного недовольства был прикрыт крышкой и закипел ещё пуще. Король опять передумал, согласился расстаться с Ривейрой. Тут мадридские общественные деятели окончательно уверились в том, что ситуация плоховата, и решили поднажать на либеральные педали, чтобы всё стало сразу хорошо. В Мадриде настал весёлый хаос, вроде как у нас в февральскую революцию. Все жили лихорадочно и быстро. В мадридских кафе все подряд рассуждали о политике и литературе.

Вылилось всё в республику, которую шатало между радикалами и консерваторами. Попутно интеллигенты понесли просвещение в массы, силами мадридских студентов создали театр Баррака, ставили для испанской провинции Кальдерона и Лопе де Вега в адаптации Лорки (студентки-актрисы ездили на гастроли с дуэньей). Фашисты пытались сорвать спектакли, а зрители радовались зре-

лицу, особенно когда Лауренсия кричала своим безинициативным согражданам, как Горбачёв путчистам: “Мудаки!”

Гойя утверждал, что сон разума рождает чудовищ. Чудовищ не чудовищ, но дураков — точно. Среди мадридских интеллектуалов некоторый сон разума был налицо. Испанские писатели, греясь у костра революции, восклицали, как Блок: “Библиотеку сожгли, а всё равно хорошо!” (Кому, кстати сказать, хорошо?) Всем было страшно, но не верилось, что есть чего бояться. Развал привычного мира стал неизбежен, слишком упорно рыл его “подземный крот”, но это казалось таким невероятным. Мысль о том, что бунт губителен и последствия его сказываются на десятилетия, очевидна, но её почему-то никто никогда не воспринимает. Наоборот, каждому хочется подкинуть в костёр своё полешко и раздуть его на горе всем буржуйам, то есть себе. Пусть сильнее грянет буря! И она грянула.

Несколько лет испанцы дрались между собой, как звери, сначала за высокие идеалы, а потом уже просто так. Когда ураган утих, фалангисты ещё несколько месяцев расстреливали недобитых республиканцев, аккуратно и методически, как у нас в Левашово.

От Пуэрта Дель Соль можно пройти по Калле де Майор, широкой, чистой и красивой улице. Тут уж не сидят на панели с собаками, выпрашивая на поллитра, да и негде присесть — всё забито народом. Это самый древний район Мадрида, в котором, летая на вертолете, можно проследить остатки запутанной мусульманской планировки. Я там не летала, но дважды проехала по Калле де Майор на экскурсионном автобусе: для верности, потому что в первый раз я ничего не смогла разглядеть и запомнить. Центр Мадрида занимает большую площадь, размером с дореволюционный Петербург, и обойти его пешком за день невозможно, так что я благодарю за помощь эти автобусы, которые без усталости кружат по главным улицам. Билет годен целый день, можно входить и выходить в любом месте. Экскурсантам выдают наушники, и на табло можно нажать кнопку с полюбившимся тебе языком, например, русским. Единственная жалоба к организаторам — на верхней открытой платформе ветрено.

В третий раз я шла по Калле Майор пешком и то и дело шныряла в проулки посмотреть на церковь или старинное здание. По дороге попадаются симпатичные уголки, например, Плаза Майор, со всех сторон окружённая домами, на которую проходишь через арку в здании (в Париже так же устроена площадь Вогезов). Плаза Майор была построена во времена Габсбургской династии — потомков Карла V. В это время в Мадриде не так уж много строилось, и

город был бедноват по мнению тогдашних путешественников. Мадриленьо часто задумывались над проклятыми вопросами: откуда берётся пыль, и куда деваются деньги? Ну с пылью понятно — несло с окрестных пустырей, а вот деньги, золото, которое выкатывали бочками с галеонов? Оно всё почему-то оседало во Франции и Голландии, выливаясь из Испании, как выпитая вода из уполовиненной кобылы Мюнхгаузена. Единственно, чем мог тогда гордиться Мадрид, это уличными шествиями и театром Лопе де Вега и Кальдерона. И вот подарок от Филиппа III, почти к столетию присвоения звания столицы — прямоугольная замкнутая плаза, на которой могло веселиться 50 тысяч человек! Раньше на этой площади шли бои быков и горели еретики. А при мне была ярмарка — продавали марки и монеты.

По улице Майор я дошла до дворца, построенного королями бургонской династии Филиппом V и Карлом III в стиле итальянского барокко. Получился испанский Версаль, наполненный, как и положено королевской квартире, не только ценнейшими картинами, но и мебелью, гобеленами и посудой. Интерьеры знамениты плафонами Тьеполо и картинами Гойи, Рубенса, Веласкеса, Ван дер Вейдена. Размеры дворца поражают. Если покрасить его в зелёный цвет и вернуть на крышу статуи испанских королей, которые, как настоящий бургон, посшибал с неё Карл III, то выйдет Зимний дворец. Но красить фасад никто не станет: он выложен серым гуадаррамским гранитом, потому что у итальянцев принято: если дворец, то серый. Было бы неплохо в него заглянуть и сравнить с русскими императорскими дворцами (обычно европейские не выдерживают сравнения с нашими), но вокруг вилась очередь посетителей, и я решила, что терять время не буду.

При королевском дворце находятся регулярные сады-партеры Лепанто и Сабатини, и сады Кампо дель Моро, спускающиеся террасами к Мансанаресу. Я зашла в огромный собор Нуэстра Сеньора де Альмудена, или просто Альмудена (“крепость” на мударабском). Шла служба, народу было много, думаю, несколько тысяч, потому что собор был заполнен до краёв.

Собор этот построен рядом с королевским дворцом на месте старой мечети и древней крепости, которая существовала в незапамятные дофилипповы времена. Собор был заложен в 1879 году, но достроен только в конце 20 века; в 1993 году его освящал знаменитый польский папа, памятник которому поставлен перед собором. Таким образом, Альмудена представляет собой только зародыш настоящего собора, имплант в раковине моллюска-жемчужницы, который

будущие века должны облечь перламутром пристроек, приделов, картин, иконостасов, резных саркофагов и настенных росписей. В Испании все соборы большие, но в этом размеры особенно поражают, тем более, что стены его пусты, и движению взгляда ничто не мешает.

От собора и дворца можно пройти к просторной Плаза де Испанья. Это современная площадь с небоскрёбами (в центре Мадрида их немного) и внушительным памятником Сервантесу. Мне понравилось, что он такой крупный: во-первых, я близорука, а во-вторых, Сервантес — большой писатель. От площади Испании можно пройти по Гранвиа, а потом по улице Алькала к бульвару Прадо. Его украшают три фонтана в стиле барокко: фонтан Кибелы, фонтан Нептуна и фонтан Аполлона. Фонтаны тоже порадовали меня размерами — со всех сторон хорошо видно. Кибела нарядно одета, едет на колеснице, со всех сторон обливаемая струями. Её объезжают машины — Кибела уселась на оживлённом перекрестке. Всё то же и с Нептуном, только одет он хуже.

На бульваре Прадо встречные потоки машин разделены широкой аллеей, и по краям тоже аллеи. Бульвар этот немного уже знаменитого “Мола” — бульвара столицы США, — и выгодно от него отличается, потому что соблюдены пропорции между его шириной и высотой деревьев и зданий. Если в Вашингтоне — проплешина, которую хочется срочно застроить, то в Мадриде — элегантный европейский проспект. Домá вдоль Прадо деловые, собранные, в серых костюмах. Даже кафе, которых немного, на Прадо прирученные и чистые. Внутри всё выглядит как хромированно-полированный бар в дорогой гостинице. По-моему даже бумажек на полу нет, а если и есть, то кажутся римской мозаикой, вроде той, на которой, помните, из мелких камушков выложены куриные кости и объедки.

В одном из таких кафе я пыталась позавтракать. Вокруг овальной стойки из металла и мрамора сидели весёлые испанцы, пили кофе и ели совсем не то, что выставлено на витрине. Секрет прост: садишься и на чистейшем испанском, с шутками и прибаутками, велишь подать себе и того, и сего, и хамона из Овьедо, и сыра из Астурии, и хлебцев из Кадиса; и всё тут же по шучьему велению появляется из-под прилавка, да ещё жарят тебе яичницу из шести яиц. А вот если тебе доступен только эсперанто, древнехалдейский или международный язык жестов — лопай, что дают. Хотя доказать, что мне нужен круассан, так и не удалось, сэндвич из булки, который мне достался, тоже был неплох. В дружеской тесноте я кому-то заехала локтем в чашку, но ничего плохого за этим не последовало.

С бульвара Прадо можно зайти в королевский ботанический сад. Ботанические сады — моё пристрастие. Мы с сестрой их любили, и всегда их разыскивали, куда бы не приехали. Эталоном мне служат два сада — один на Аптекарском острове, просторный, где я готовилась к вступительным экзаменам в университет, где потом впервые встретилась с гинкго, как раз после лекций проф. Сергиевской, и у меня перехватило дыхание от счастья видеть воочию это легендарное дерево. Второй — крохотный университетский ботанический сад, о существовании которого мало кто знает, где я в течение месяца мыла монстеру, лист за листом — большие, разлапистые, пыльные, — в наказание за то, что не поехала в колхоз. В Аптекарском Огороде под стеклянным куполом оранжерей — нарядность и парадность; мучение выбора между тропиками и субтропиками, потому что в один день и то и то нельзя, как два завтрака; гигантские тарелки Виктории Регии, ряды растений, выстроившиеся по росту, воспроизводя ярусность тропического леса. В университетских оранжереях — приветливость и домашность, две восьмидесятилетние Анны, Павловна и Арсеньевна, утренний обильный полив из шланга всей стены растений сверху до низу — до горшков ли тут, — медленно стекающая с листьев вода, запах сырой земли и свежести. Павловна спрашивает, хотела бы я тут работать; я отвечаю — “да”.

Ничто не сравнится с садами нашей молодости, у них нет соперников. Но всё же надо бросить взгляд на Королевский ботанический сад Мадрида. Сад был создан по приказу Карла III в 18 веке, в эпоху любви к наукам и просвещению (ведь даже Прадо был задуман Карлом III как музей естественной истории), и застыл с тех пор в своей регулярности, расчерченный геометром на прямоугольники, окантованные валиками стриженного самшита; внутри них цветы и деревья, снаружи статуи. Непонятно, как гулять по этому саду — продольно? Поперечно? Или лучше сначала пройти зигзагом по продольным аллеям, а потом так же по поперечным, чтобы ничего в нём не упустить? Но как ни лавируй между грядками, упускать вроде нечего — особенного разнообразия растений я не заметила.

В конце сада находятся королевские оранжереи, войдя в которые я замерла от обиды обманутых ожиданий — в оранжереях не было ничего королевского. Дело не в том, что они маленькие: мне случалось видеть крошечные оранжереи в провинциальных американских городках, убранные со вкусом и искренней любовью к зелёным спутникам нашей жизни. А тут передо мною предстала унылая, усталая бедность, бедность долгая, как жизнь, высосавшая все

соки, когда махнули рукой на то, что стены исписаны и лифт расцарапан, и уже не важно, что всё вокруг некрасиво и неприбрано. Над оранжереями нависала громада современного дома с простоватыми окнами и широкими балконами, настойчиво напоминая о том, что времена имперского великолепия Мадрида прошли.

Рядом с ботаническим садом находится большой парк Буэн Ретиро, куда я ретировалась, когда ноги меня уже почти не носили. Когда-то там был королевский дворец, но теперь дворец исчез, остались только утопанные аллеи со множеством народа. Посреди стоит Хрустальный дворец — оранжерея, которую отняли у цветов и передали на откуп современным скульпторам; вы догадываетесь, чего они натащили в этот павильон. Всюду лёгкая запущенность, напоминающая о ЦПКиО. Я сидела на скамейке, сняв кроссовки, как вдруг раздался грохот барабанов. Пришлось обуться и бежать на звуки. Оказались не военные маневры, а отряд африканских музыкантов. Они пристроились в большом каменном амфитеатре перед прудом и музицировали на совесть, так что закладывало уши. Да, были когда-то и в России звучные зажигательные песни, например: *“Я, ты, он, она — вместе целая страна; вместе целая семья, в слове «мы» сто тысяч «я»!”*

Может быть, поесть? Как всегда не могу не сказать правды о мадридских кулинарных достопримечательностях. Навру о чём угодно, но не о пище! Тут меня пробирает зуд честности. Сначала о хорошем — о бутербродах (именно бутербродах, а не сэндвичах). Бутерброды мне понравились, хотя путь к ним был тернист. Раздача бутербродов (с колбасой, ветчиной и копчёной рыбой, — звучит, как сладкая музыка, хочется повторять снова и снова) начинается в барах поздно вечером. Бутерброды лежат в больших плоских стеклянных вазах, прямо как в буфете какого-нибудь ленинградского театра. Вокруг все орут, пьют пиво, бросают на пол бумажки, а бутерброды тихо ждут своего часа, как японские гейши. Что-то, помню, помешало мне выйти на ночную охоту за бутербродами, и на следующий день много пришлось испытать, пока я не нашла дневной бар на улице Санта Ана и не выпила там пива с тремя бутербродами. Теперь вот жалею — а почему не с четырьмя?

Район, где я искала бутерброды, находится между Пуэрта дель Соль и бульваром Прадо. Это не парадный район, улицы в нём узкие, дома невысокие, окрашенные в яркие цвета, и первые этажи в них заняты закусочными. В закусочных полно народу, который закусывает местными закусками, например “энсалада русса” (“русский салат”, на вкус и цвет наш оливье). Льётся рекой пиво и вино.

Кто эти весельчаки и бонвиваны? Туристы? Судя по разговорам, среди посетителей множество испанцев, которым захотелось хорошо провести выходной день.

Перейдём к питью. Рядом с Плаза Майор есть знаменитое кафе (“Шоколатерия Сан Хинеса, открытая по вечерам”), где подают самый вкусный в Мадриде горячий шоколад (очень противный — скулы сводит от сладости) и замечательные длинные испанские рожки, которые посетители макают в шоколад (это страшная пакость — тесто, сваренное в жире каких-то животных). Я предпочитаю испанский кофе, но есть и другие мнения. И Боткин, и Гарри Франк считали, что кофе в Испании ужасный, и советовали пить только шоколад: *“В самом последнем крестьянском доме вам подадут такой шоколат, какого вы не найдёте у любого гастронома в Европе”*. (Да-да, жди! Разве что Шоколатерия Сан Хинеса не относится к распоследним домам Испании.)

Боткин также рекомендовал прохладительные напитки — апельсиновый, лимонный, земляничный и миндальный, и слегка замороженное молоко. *“Ранним утром, когда мороженое не готово, можно пить питьё, сделанное из неспелого винограда, чрезвычайно приятное”* — наслаждайтесь, граждане, если найдёте, а пока вот вам милк-шейк и пепси-кола.

Привыкнув к русскому умеренному климату и американским кондиционерам, я равнодушна к мороженому и замороженным напиткам, и по собственной инициативе ем и пью их, только если мне грозит тепловой удар, но посидеть в заведениях общепита люблю. Вокруг Пуэрта дель Соль затаилось множество чайных. Сначала они робели, и обнаружить их было решительно невозможно, но потом освоились и стали попадаться мне на каждом шагу. От избытка возможностей я испытывала мучительное чувство — ну куда же зайти? Выпить чаю в нескольких чайных подряд мне не приходило в голову, хотя что проще: посидел в одном кафе, на людей посмотрел и себя показал, потом перешёл в другое — много ли места нужно в желудке для чашки чая и пирожного? Сейчас, когда мне пришла в голову эта мысль, ослепительная в своей простоте, я бы уже растерялась при виде всех этих кафе и баров; ведь кто сказал, что в кафе можно зайти только раз в день? Гераклит? Так и я не глупее!

Наконец я выбрала кафе на крупной улице, Гранвиа. Помню огромный узкий зал, уходящий глубоко во чрево здания, все столы заполнены весёлыми друзьями. Я сижу к ним спиной, у окна от пола до потолка, откуда видна вся улица, смотрю рассеянно на прохожих, погружаюсь в бездумное созерцание Гранвиа, её машин

и тротуаров, заполненных людьми. Да и сама я видна им от головы до кончика хвоста, чуть приподнята над их потоком в своём стеклянном террариуме. Такая толпа по улице идёт — просто не верится, что, как писал Боткин, мадридцы мрут, как мухи, от дурного климата. Я уже отвыкла от городов, где есть прохожие, от улиц, по которым идут шестеро в ряд, и мне приятно, как будто я вернулась в родную стихию.

“Из всех здешних улиц самая интересная Калле де Толедо”, — напомнил мне Боткин. “Вся она наполнена постоянными дворами, трактирами, харчевнями, мастерскими. Здесь вся Испания в миниатюре: разнообразные костюмы провинций, их наречия, особенности, манеры, физиономии лиц” (а в наше время говорят “морда лица”). *“Беспрерывный шум и гам стоят на улице, торговля и промышленность Мадрида сосредоточиваются здесь. Разумеется, вся эта жизнь начинается только к вечеру, потому что днём как высший и средний классы, так и простой народ делают сиесту, или говоря проще сидят в жару дома. К вечеру всё народонаселение выходит на улицу. Цирюльники у дверей цирюлень публично бреют своих клиентов; кружок андалузцев (вечно весёлый народ), сидя у входа кузницы, напевают «ла канья», возле — девочки под кастаньеты пляшут фанданго, толпа полуодетых, бронзового цвета мальчишек играют на улице, представляя корриду де торос, ватага удалых сигаррерас (женщин, работающих на сигарной фабрике: ещё особенный испанский тип) расходится по домам, окружённая своими любезными; в харчевнях и у входа их толпы народа ужинают сардинами и салатом. Лос Арриерос (перевозчики товаров на мулах) разных провинций, во всей особенности своих провинциальных костюмов, приезжают на постоянные дворы, гоня перед собою длинные цепи мулов, всегда выхоленных и разукрашенных перевязями и букетами из разноцветной шерсти. Нищие просят милостыни, распевая под аккомпанемент своей гитары: «Сеньоры кабаллеро, подайте милостыню профессору!»”*

Эх, что осталось от Москвы, от России... Как поётся в песне Э.Рязанова, *“пришли худые времена”*... Главные улицы теперь не Калле де Толедо, а широченная Калле Кастельяна, Гранвиа, Алькала. Сейчас как раз два часа дня, время сиесты, но народу на Гранвиа полно. Одеты так, что не разберёшь, с Аляски или из Бургоса. Ни ремесленников, ни ремесленных лавок, только магазины с дорогостоящими товарами. Брадобреи вымерли, потому что все научились бриться автоматическими бритвами на дому. Нищей профессуры не видно, алкаши и хиппи есть, но только на боковых улицах. Плясать

фанданго не стоит — негде развернуться. Мула задавят тут же, или страшно обматерят.

Мне подали кофе с пирожным неопределенного пола и возраста. Съедобно. Время подумать, нравится ли мне Мадрид. Скорее нет, чем да, хотя трудно определить, в чём же загвоздка. Я люблю большие города, так же, как я люблю океаны, но чего-то в Мадриде не хватает. Изъянов быть вроде не должно, всё в моем вкусе: город старинный, построен с размахом, как и Петербург, изобилует стилем модерн, со вкраплениями барокко. Вероятно дело в том, что нарушена соразмерность человека и здания: вроде и небоскребов почти нет, но и нормальных домов тоже. Здания на главных улицах поражают гигантизмом, и этот эффект усилен огромными статуями на крышах: например, на одном из банков стоит Меркурий высотой в полтора этажа с разлётом крыльев как у кондора, или может быть Ника — снизу как-то трудно разглядеть, что это там виднеется, то ли *молодая нерасцветшая грудь* тургеневской девушки, то ли скульптурная мускулатура культуриста. Всё-таки до такого опупения в Петербурге не дошли — самое крупное, что там установлено на крыше, это всеми обожаемый глобус на ДOME Книги, крошечный по сравнению с мадридскими фигурами. Склонность Мадрида к гигантизму проявляется и в импозантном памятнике Сервантесу, и в фонтанах бульвара Прадо. А у нас, в Петербурге, с памятником Сервантесу по размаху и идее можно сравнить только стамеску блокадного мемориала или Ленина у здания несбывшегося обкома на Московской площади; скульптор поймал его в полёте: вождь уже споткнулся, но ещё не забурился...

Мадрид — усиленная Москва. Над Москвой я по петербургской привычке могу посмеиваться, но Мадрид меня немного смутил своей величиной. Кольнуло чувство моей провинциальности. Дело не в культуре, не в красоте, но в мощи колоссальной навороченной груды камней. В Париже такого чувства у меня не было — в Париже нет гигантизма. Многое зависит и от обстоятельств: один ты, или в весёлой компании. С любимым человеком даже Гранада может показаться розовой. Хороши и Гарри Франк, и Вася Боткин, но в столице Испании я бы предпочла спутника, который её любит, как я Петербург, который провёл бы меня правильным маршрутом и приучил бы для меня Мадрид.

Вскоре я ушла из кафе, слишком быстро прожевав пирожное — заскучала. В мадридском кафе я не болтаю с друзьями, и не живу мадридской жизнью, как жизнерадостный Гарри Франк, который в любом пансионе тут же находил себе товарищей и бежал с ними

на корриду или народное гулянье. Не скучал и тридцатичетырёх-летний Василий Петрович, хотя он всё больше ударял по женской части (двадцатипятилетний Гарри небось тоже ударял, но не писал об этом, чтобы не разрушить найденный им литературный образ). А я в Мадриде только наблюдатель, и я вижу только внешнюю оболочку, не наполненную реальной жизнью. Ведь я не могу даже прислушаться к обрывкам разговоров. Без языка ты полностью выключен из человеческого общества. Я, положим, и в Петербурге теперь не участник, но там у меня под рукой русский язык и столько ассоциаций с прошлым. Пышка с бурым доперестроечным кофе испанцу понравится не больше, чем мне мадридский шоколад с рожком, но для меня она — сладкая музыка, вкусовая симфония “Следы былого”, прощальный поцелуй успешней молодости. Ради этого кто-то захочет и рожок погрызть.

На бульваре Прадо находится Прадо, один из трёх знаменитых музеев Мадрида. В другие два, Тиссен-Борнемисса и Реина-София, я не попала — толпища была жуткая, может быть по случаю трёх-дневных праздников. Сначала я думала, что и в Прадо не попаду — стоял страшный хвост. Но я пришла во второй раз за час, как мне казалось, до закрытия. Очередь тоже была большая, стоялось скучно и дождём на нас лилось, но в конце-концов наше стадо запустили внутрь, вручив нам пластиковые пакеты для зонтов. (Не бояться, что мы зонтиками Филиппу Второму по мордасам!) Я паслась в Прадо около двух часов и ушла сама, потому что устала; музей всё ещё работал. Так мне и непонятно, когда же они закрываются? Я-то ушла, а Гарри остался, он потом всю неделю не вылезал из Прадо.

Описывать картины дело неблагодарное, все равно, как стихи пересказывать “своими словами”. Поэтому о Прадо скажу совсем немного. На первом этаже там международное собрание высочайшего класса — немцы, итальянцы, Рафаэль, Босх. Но самое интересное для меня было на втором этаже, где испанцы. Там была ударная доза великих испанских художников. Я хожу и восхищаюсь, а испанцы наверно смотрят на эти картины и думают — ничего особенного, всё наше, всё домашнего изготовления.

Не жалею, что не побывала в королевском дворце и музеях Тиссен-Борнемисса и Королевы Софии; “Гернику” смотреть неохота. Вот о чём жалею — не попала в частную картинную галерею дворца Лириа, в часовню Сан Антонио Флоридского, где похоронен Гойя в окружении своих собственных фресок, в часовню Дель Обиспо с лучшим в Испании иконостасом в стиле “Платереско” (фотографии восхищают), и в Королевский монастырь Дескальцас, основанный

сестрой Филиппа II: в нём масса картин прославленных художников. Но открыт Дескальцас всего несколько часов в день, и я поняла, увидев очередь, что я потеряю слишком много времени. Мадрид также славится церквями эпохи барокко, которые отличаются не столько пышностью оформления, сколько вкусом и гармонией. Может быть и не страшно, что я их не увидела: встреча с каждой из таких церквей предполагает и культуру, и свободное время у ценителя, — ведь гармонию и вкус нельзя оценить впопыхах. У меня в последние годы появилось чувство — что успею в путешествиях, то и успею. Не успела — значит, не судьба. Сейчас я уже значительно меньше могу в себя впитать, и поэтому избыток впечатлений всё равно пойдёт не впрок.

Жалею, что не побывала на экскурсии на королевской фабрике гобеленов. Из магазинов зашла только туда, где мне интересно — в книжный. Хотя теперь я порядочно ослепла, и читаю мало, но по старой памяти ещё липну к книжным магазинам; попадая туда, провожу там часы, и если меня вытащить из книжного раньше времени, я начинаю кричать и сучить ногами, как младенец, у которого отобрали соску. Не правда ли, вам покажется сумасшедшим человек, который проводит два часа в книжном магазине, не зная языка, но в том-то и дело, что там, где нужно, испанский я знаю. Не в тех тривиальных и необязательных ситуациях, когда нужно попросить попить и поесть, объяснить, что болит зуб и течёт унитаз, но тогда, когда я вижу перед собой биографию Изабеллы, или герцогини Эболи на испанском, и незнакомые слова вдруг складываются в понятную фразу, так же, как стереопара складывается у меня в трёхмерное изображение без помощи специальных очков, просто волею обострённого интереса.

Совершенно случайно, наугад, я зашла в музей Лазаро Гальдиано, и он мне необыкновенно понравился. Лазаро собирал коллекцию испанских художников и в начале 20 века построил себе особняк, в котором главное место было отведено для этой коллекции. Здание выстроено в стиле старых испанских дворцов, с огромным внутренним двором во всю высоту здания, покрытым крышей. Лазаро любил Гойю и по сему случаю даже заказал плафоны в его стиле.

Коллекция практически не содержит знаменитых картин (в ней есть первоклассные картины второклассных художников и второклассные первоклассных), но любопытна с точки зрения истории испанского искусства. Самое знаменитое в этом собрании — рисунки Гойи. Все картины выставлены именно так, как надо, наиболее выигрышно, в обстановке соответствующего им времени, и

поэтому я получила огромное удовольствие, подробно всё осмотрела, и никак не могла уйти. Галерея Гальдиано образцовый частный музей, оформленный с большим вкусом; в нём нет суетливости, впечатления, что хозяин собирал всё, что под руку попадётся — ощущения барахолки, так знакомого мне по американским коллекциям. Внизу, в подвале, находится выставка ювелирных подделок, где проводится мысль о том, что подделки это высокохудожественные произведения, и отличаются они от оригиналов только по времени изготовления.

Интересна судьба Лазаро Гальдиано. На рубеже 19–20 веков он был редактором журнала вроде петербургского “Мира искусства”, и вращался среди замечательных писателей испанского “серебряного века”. Это название — моё изобретение, потому что уж больно похож этот период испанской культуры с поисками новых тем и форм, возвращением к фольклору, на русский Серебряный век. Создавалась литература, в нашей стране не оценённая: первостепенные писатели переведены, а вот второстепенные — нет. Грусть от незнания языка прежде всего в том, что никогда не прочитаешь второстепенных книг, а ведь именно они-то и дали бы прочувствовать дух эпохи; второстепенные ближе к повседневной жизни, к ее фону, реальному для современника, для последующих поколений исчезнувшему, непонятному.

Закончился этот период, как и в России, крахом, изгнанием, в этом случае добровольным, — всей интеллигенции. Кто не уехал, сошёл с ума, или умер, как Мигель де Унамуно. Многие так и не вернулись, но Гальдиано всё же вернулся после второй мировой войны из Нью-Йорка, чтобы умереть на родине — он уже был совсем старенький. Интересно, как это было — просто подошёл, вставил ключ в замок и оказался в нетронутом прошлом? Какое счастье, если где-то тебя ждёт запертый и заколоченный дом твоего детства, в котором, как в куске янтаря, сохранились и старые книги, и старые письма, и фотографии, и щербатая чашка кухонного сервиза.

Добиралась я до музея Гальдиано на метро, которое в Мадриде представляет собой запутанный лабиринт с линиями, бегущими параллельно, никогда не встречаясь, а потом ещё шла по улице Марии Молина и размышляла о том, кто она такая — *“ведьма, или фея, или женщина в летах”*, а может балерина, или медсестра времён первой мировой войны? Впоследствии, в книжном магазине я увидела книгу “Мария Молина” и узнала, что это средневековая испанская королева, жена одного из многочисленных Альфонсо. В Толедском соборе есть гробница с её именем, но похоронен в ней кто-то другой.

В Испании почитают своих королей; я даже видела в Мадриде вывеску выставки, посвящённой Альфонсо XIII, отцу нынешнего короля — кому-то и сейчас интересен этот слабый нерешительный человек, который способствовал национальной катастрофе. В Испании называют улицы в честь королей, а в России это не принято. Дело даже не в советской власти; например, в честь писателей улицы называли — улица Гоголя появилась ещё до революции, а улицы Елизаветы I или Екатерины II никогда ведь в Петербурге не было; мост государя Александра Третьего находится в Париже, а его родной брат зовётся у нас в Петербурге Троицким.

В Мадридском аэропорту, где я даже не заметила, что он является чудом современной архитектуры, мысли мои были уже далеко от Испании. Раскрыв записную книжку, я подумала, что жизнь моя наверно не удалась, но у кого же она удалась, и неожиданно для себя записала: “Надо всегда следовать за счастьем, даже если оно переменчиво”. Фотоаппаратик проснулся, чихнул и спросил: “А какое сегодня число?”

Эпилог

Остаётся порассуждать о том, зачем я поехала в Испанию. Несмотря на всеобщие восторги и поездки новых русских в Барселону у меня были предчувствия, что это страна не особенно хорошая и не особенно интересная, и ездить в Испанию мне не надо. Мне виделась с одной стороны дешёвая романтика, фиги, солнце и вино, а с другой стороны мрачная угрюмость в стиле картин Сурбарана и оперы “Дон Карлос”. То есть, у меня сложилась Идея Испании. Откуда мы, запертые в России, набрались идеей о всевозможных странах, в которых сами не были и даже и не видели никого, кто бы там побывал? Вот наши *“три источника”* и *“три составные части”*: живопись, устное предание, литература. А как же кино, искусство, которое для большевиков было важнейшим? *Кина не было*; по крайней мере испанского. Еле-еле до нас дополз Бунюэль, но его мы испанцем не считали, а считали просто Бунюэлем. Его главные фильмы: “Андалузский пёс”, “Виридиана”, которые показывали на закрытых просмотрах, я даже и не видела. Для нас тогда западное кино было жанром художественной литературы, мы читали сценарии и кинокритику, и восстанавливали фильм для себя из слов, как у кого получалось. Много лет спустя, за границей, я посмотрела некоторые испанские фильмы и поняла, что испанское кино в общем-то ничего. Мне понравились ранние иронические комедии и мелодрамы Альмодовара, испанского Леонида Гайдая (но всё-таки, неужели все испанцы — это помесь трансвеститов с невротиками?), фильмы “Прекрасная эпоха” и “Лабиринт фавна” о гражданской войне, которая для современных испанцев такой же непостижимый миф, существующий в стилизованных символах, как для нашей молодежи Отечественная. Упоминаю эти фильмы потому, что они дополнили копилку моих представлений об Испании и усилили чувство, что испанская культура жестока, колюча, и лучше её осторожно обойти, а то всё платье изорвешь.

С художниками дело обстояло лучше. Всё-таки мы разглядывали картины или их репродукции, а не печатные перечни сюжетов. Благодаря Фейхтвангеру любили Гойю, несмотря на слишком узкие плечи его герцогинь, Эль Греко за сюрреалистическое безумие, Веласкеса за то, что признан великим. В испанских залах музеев мы встречали реализм, беспощадный как кастет, не прощающий ни

одной бородавки, звериную серьёзность, аскетизм; не было радости жизни, как у французов, скажем, Буше или Фрагонара. Но я не думаю, что эти художники нам помогли понять реальную Испанию, потому что мы не знали, что искали. Мы ведь некоторых художников, например Пикассо или Дали, даже не воспринимали, как испанцев. Мы думали: “О-о, Гойя, — какой оригинальный!” Мы считали: “О-о, Пикассо, — какой неповторимый”! Нам мешало отсутствие контекста. А приедешь в Испанию, увидишь её природу, разберёшься хоть немного в этой европейско-мусульманской культуре и поймёшь, какие они все одинаковые, различий чуть-чуть на поверхности общего, испанского. Так же ведь и мы, русские: возьми каждого в отдельности, и как он дик и странен французам и итальянцам, — но это не он сам оригинал; 99 процентов в нас от русской культуры и только один процент от индивидуальности.

Устное предание состояло из глухих отзвуков испанской войны, неясного ощущения вины России перед Испанией. На волнах запретного радио звучали обрывки воспоминаний, ставивших официальную историю интербригад с ног на голову. Бродили слухи о пародах, украдкой ходивших в Испанию; об исчезавших людях; об инвалидах, которых тайком куда-то сгружали с глаз долой, ссылали на острова посредине холодных озёр и морей; о трагедии испанских детей, вывезенных зачем-то в Россию, как в зоопарк строгого режима, об обязательствах, на себя взятых и не выполненных. Испанские дети, где они все были? — я не встречала или не узнавала при встрече. Наверно, они ходили по петербургским улицам — мужчины, похожие на Антонио Бандераса, женщины с лицом Кармен Маура, — но ведь у нас и свои очень разные: корейцы, говорящие на чистом русском, третье обрусевшее поколение гарибальдийцев; поди разбери, испанец он или азербайджанец.

Главным источником познаний об Испании для нас были книги. Я часто слышу, что мол жизни по книгам выучиться нельзя, и отвечаю — правильное сказать, что не каждый может выучиться по книге. В книгах собраны мнения людей поинтереснее среднего собеседника в вагоне. Можно избрать другой путь — пожить в стране лет десять, постараться войти в испанское общество. Не всякий может или хочет это сделать, и не всякий способен сделать правильные выводы; мы всё это знаем, мы видели иностранцев, храбро коверкающих русский язык на ленинградской кухне, а потом пишущих неожиданные вещи о русских. А в испанских книгах умнейшие люди эпохи сами рассказывают о своей стране и том, что их действительно занимает. Так что книга не такая уж плохая замена общению.

Хочется упиться прошлым (мы тогда были молоды!) и перечислять прочитанные книги, подобно престарелому Умберто Эко, который, не стесняясь читателя, засоряет страницы книги “Таинственный огонь царицы Луаны” списками любимых пластинок и упаковок из-под сахара и печенья. Только начни вспоминать прошлое, и посыплется ворох ненужных подробностей. Но список испанских книг будет коротким — не так уж много их у нас издавали.

Одна причина в том, что книг, *“интересных широкому читателю”* до недавнего времени в Испании было мало. Кому из нас нужны религиозные поэмы Хуана де ла Крус? Испанская светская литература встала на ноги, как и русская, только в девятнадцатом веке, а в двадцатом уже и упала на колени перед писателями Латинской Америки, где испанцы сумели приживить свой язык, в отличие от нас, русских, оказавшихся неудачливыми колонизаторами.

Была и другая причина. Многие ли знали испанский? Если не знаешь языка, будешь читать в переводе то, что за тебя выбрал другой. В Советском Союзе это было особенно серьезно: перевод был способом допустить или не допустить. Было популярное издание “Иностранная литература” — журнал с фильтром, как сигареты. И читали его, как миленские. Лазейка в большой мир существовала только для тех, кто знал иностранные языки — нас было так немного, несколько сот в столичных городах, что нас всерьёз не принимали, и мы могли дорваться до зарубежных писателей 20 века. Что страннее всего: для нас даже кое-что издавали из запретного для остальной публики. Но царила умеренность и аккуратность: если Пруст на французском, то только первые два тома; страницы, *опасные для сердца дев*, “Прогресс” *опускает, покраснев*. Я знала французский и английский; испанского не знала. Соответственно, лопай, что дают.

Что же нам отфильтровали? Мигель де Сервантес Сааведра (“Дон Кихот”, перевод Любимова и Лозинского), исторические повести Бенито Перес Гальдоса о “смутном времени” борьбы с Наполеоном. 20-й век так же скуден. Кто-то читал Лорку, я — нет. Вроде слышала про Унамуно... Испанская литература была не особенно популярна. Исключение составляли пьесы золотого века испанской драматургии (Феликса Лопе де Вега, Габриэля Тирсо де Молина и Педро Кальдерона) благодаря блестящим переводам Лозинского.

Переводы Лозинского стали частью русской литературы. Но насколько хорошо они передавали дух оригинала? Речь не о крупном недопонимании — все мы люди, и разговаривавшись с бушменом, поймём его печали и радости. Речь об оттенках, аромате: они присущи

эпохе и культуре, так же как у вина есть привкус, приданный винограду почвой и погодой в таком-то году. Именно такие пустяки мы замечаем, смотря американский фильм по Толстому, и безошибочно определяя — нет, не русское, даже при прекрасном дубляже и при том, что эпоха Толстого так далеко, что почти что непредставима. С переводом на наш язык дело обстоит сложнее. Надо хорошо знать оба языка, чтобы сравнить. Если знаешь язык, всегда возникает чувство: “Что-то тут не то!” Наступает понимание, что синонимов не бывает. Новый язык — новый мир; переводчик в него заглянул, а мы дёргаем его за полу — ну, что там? Он нам расскажет, приспособив к нашему разумению; вроде как содержание Евгения Онегина, *своими словами*, белым стихом (вспомним ужасный перевод Набокова на английский, в котором *крестьянин, торжествуя*, “инаугурирует санный путь”).

Испанию мы узнавали и рикошетом, сквозь призму другой культуры, читая переводы иностранцев, т.е. не испанцев. Фейхтвангер, тот честно пытался писать о реальной Испании. Для многих других бутафорская Испания была задником, который можно было подправлять в соответствии с *текущим лозунгом момента*: Лесажу (“Жиль Блас”) Испания позволяла свободно говорить вещи, которые не скажешь о соотечественниках (лучше про Оливареса, чем про Кольбера, потому что Оливарес далеко, Кольбер близко), для Мериме была источником экзотики. В 60-е годы шуму наделал “Колокол” Хемингуэя, потому что рассказывал о войне фалангистов и республиканцев подробности, которые в России тогда скрывали, и просто потому, что модно было любить Хемингуэя, и модно было отношение к жизни, для которого теперь употребляется словечко “мачизм”. (А может правильнее “мочизм” на всё подряд?) Орвелла о войне в Испании не переводили (и вообще не переводили); он оказался слишком крупным для мелких ячеек цензурного фильтра. По части русских путешественников в литературной диете наблюдалось сильное недополучение калорий, потому что того не пускали, а этот не хотел. Невыездной Пушкин (в какой закрытой конторе работал, кому бы помешала его поездка?) сочинял сам для себя Испанию, мавры-лавры. Ездил мало кто — Глинка, Боткин. Может быть и ещё кто-то, но те не были переизданы в “Памятниках литературы”. А куда отправилась русская интеллигенция в 19 столетии, когда её наконец выпустили? Отнюдь не в Испанию, а в милую нам Германию, Францию и Италию, на худой конец в Швейцарию.

Из картин вне контекста, фильмов в виде сценариев, книг в переводе, профильтрованной политической информации неизбежно

рождается абстрактная иллюзия, романтическим флёром затягивает “Андалузию”, “Барселону”, “Гранадскую волость”. Даже “Мурсия” звучит романтически, если не вслушиваться. Вот такой абстракцией я и питалась.

Вроде уже всё известно, и ехать не надо, а, с другой стороны, предчувствие, что придётся снова вспомнить о том, о чём я давно стараюсь позабыть. Фавн какой-нибудь выскочит с глазами на блюдецке, и вызовет нежелательные ассоциации. Общее впечатление оказалось более буднично, менее страшно. Своеобразие ландшафта, особица есть, и ты это сразу чувствуешь: перепады высот открывают глазу необычные просторы. Испания — страна небольших белёных домиков, в которой россыпи замков и крепостей напоминают о том, что на её земле столетиями боролись две культуры. В этих живописных декорациях живёт и действует будничный буржуазный мир, до конца не понятый за незнанием языка. Может быть что-то и скрыто от нас, может быть нет.

Обращает на себя внимание физический облик людей: тип лица не то арабский, не то цыганский. Испанцы безусловно веселее портретов Веласкеса. Задаёшь себе вопрос: а что это за люди, сумевшие завоевать полмира, язык которых самый распространённый из европейских? И понимаешь, как мы близки. Может и раньше, из книжек, догадывался, но не хотел признавать, а теперь поставлен лицом к лицу перед фактом. На каждом шагу я вижу параллели с Россией, начиная с небрежности, неопрятности... Испания для нас не чужая. Нас роднят:

1. Корни: значительный вклад мусульманской и еврейской культуры, взаимопроникновение народной и цыганской музыки (русский романс, как фламенко, родился из цыганского пения);

2. Превратности истории: частые войны на своей территории, в том числе и гражданские, с чудовищным разорением мирного населения;

3. Вклад в мировую культуру. Испания — родина великих художников — в этом она Россию почти переплюнула; Россия оправдалась только в 20-м веке, Кандинским, Филоновым, Гончаровой, Петровым-Водкиным и пр. Испания дала миру “Дон Кихота” и Лорку. В Испании существует великая национальная литература, которой мы, увы, практически не знаем. Мы тоже кое-что дали миру (в смысле литературы, про Пражскую весну пока не будем);

4. Национальное богатство, растраченное в погоне за великодержавной идеей;

5. Слежка и инквизиция, фабрикация фальшивых анкетных дан-

ных, этнические зачистки и массовое переселение “инородцев” во славу этой идеи;

6. Многовековая поголовная бедность и суеверие народа, любовь его к царям и священникам;

7. Глубокая жестокость культуры, замешанной на религиозном фанатизме и многовековом светском абсолютизме. Наклонность к людоедству, безразличие к индивидуальной судьбе, готовность расстрелять своего Пушкина, расстреливать пачками на протяжении месяцев и лет, непримиримость и нетерпимость к чужому мнению...

8. Ожесточённая национальная гордость, которую защищают, как последнее достояние. Испания была единственной европейской страной, кроме России, в которой население оказало сопротивление французской оккупации. Интересно, что в Европе обе эти страны, Россия и Испания, считались недоразвитыми.

История Испании и России странно переплелись в 20 веке из-за безумных имперских фантазий обожаемого россиянами маньяка. Ему хотелось хапнуть ещё и *“Гранадскую волость”*, а в результате испанская трагедия обернулась трагедией русского народа. На нас легло бремя долга перед испанскими детьми и своими инвалидами, наступило похмелье в чужом пиру.

Я не полюбила Испанию, но я многое поняла, в том числе причины своей сдержанности по отношению к ней. Испания — зеркало России. Приятно ли смотреть в такое зеркало? Россию я как-то умудряюсь любить “странною любовью”, несмотря на всё то, что в ней произошло в 20 веке, но, если предложат: “А вот кстати есть ещё такая, не хотите ли заодно?” — Нет, спасибо. “Россия” без русского языка мне неприятна. Второй такой экземпляр понравиться не может.

Нелепо ездить в страну, в которую ехать неохота, но ещё удивительнее моё решение ограничиться только Андалузией, при инстинктивной нелюбви к восточной культуре. Андалузию сравнивают с Самаркандом, а в Самарканд не хотелось никогда, уже в мечети на Петроградской виделось чуждое. Недоверие и страх пошли с детства, со злого золотого петушка, шемаханской царицы и длиннобородого кудесника. Не любила восточных сказок; не вызывали приязни их яркие иллюстрации: купола вроде наших, да не те, с опрокинутым полумесяцем вместо креста, восточный базар, чалмы, широкие шаровары, туфли с загнутыми носами, пружинящий рахат-лукум. То есть всё в этом путешествии должно было быть против шерсти.

Но сама же ведь и очертила твёрдой рукой маршрут — только

по Андалузии, чувствуя, что зачем-то мне это надо. И это было правильное решение. У меня изменился угол зрения. Всякий, кто приезжает в Андалузию, начинает ценить мусульманскую культуру в её европейском исполнении, и жалеть о её разгроме.

Испания напомнила мне о глубоком трагизме истории. У каждого — своя правда. Истины, которые мне кажутся непреложными, прогибаются под весом реальности. С современной точки зрения религиозная унификация не нужна, а этническая чистка преступна. Но на этих принципах зиждилась вся человеческая история, и если не ханжить и не прекраснодушествовать, то приходится признать, что и ныне зиждется политика 90 процентов государств, за вычетом Европы и Канады, и может быть США, хотя за последнее не поручусь... И в 21 веке в очередной раз приходится решать, что делать при встрече с Полифемом, то ли заплакать: “Ах, какой ты нехороший, не будем тебе уподобляться”, — то ли закалить кол на костре.

В этой круговерти жаль не только отдельного человека, но жаль и народов. Страшен крах утончённой цивилизации под напором варваров. Страшна и гибель изнутри, под гнётом великодержавной идеи.





В книге описано путешествие по Андалузии. Её можно использовать как путеводитель по Мадриду, Сеговии, Севилье и Гранаде. Но это не путеводитель, а травелог, то есть книга для тех, кто преломляет увиденное жизненным опытом.

Автор смотрит на Андалузию глазами послевоенного поколения, до зрелых лет из России не выезжавшего, воспринимавшего Запад только сквозь призму литературы, живописи, фильмов... Как часто сложившиеся представления меняются от увиденного своими глазами! “У меня изменился угол зрения. Всякий, кто приезжает в Андалузию, начинает ценить мусульманскую культуру в её европейском исполнении и жалеть о её разгроме. Неожиданным для меня оказалось сходство исторического опыта Испании и России. Испания напомнила мне о глубоко трагизме истории, ведь корни настоящего уходят в прошлое”, – пишет автор.

Вместе с автором путешествуют Василий Петрович Воткин (середина 19 века) и американец Гарри Франк (первая половина 20 века), их наблюдения не всегда совпадают. Читать книгу вам будет легко и весело, при этом найдётся о чём подумать. Эта книга поможет читателю поместить андалузские достопримечательности в культурный и исторический контекст.

ISBN-978-0-9981894-5-1
New Heritage Publishers, 2021